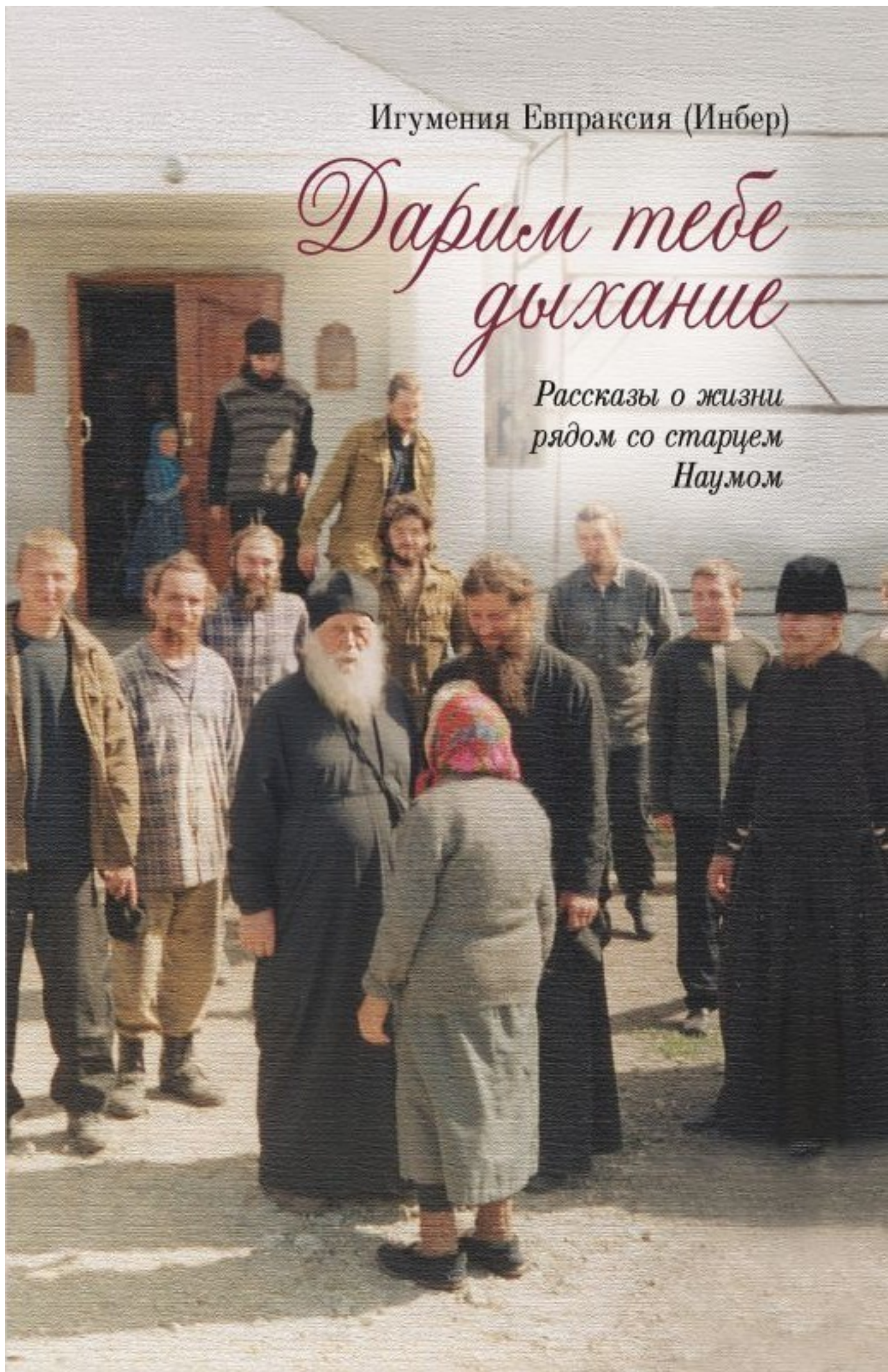


Игуменья Евпраксия (Инбер)

Дарим тебе дыхание

*Рассказы о жизни
рядом со старцем
Наумом*



Екатерина Инбер

**Дарим тебе дыхание. Рассказы о
жизни рядом со старцем Наумом**

«Сибирская Благовонница»

2018

УДК 291.6
ББК 86.375

Инбер Е. И.

Дарим тебе дыхание. Рассказы о жизни рядом со старцем Наумом /
Е. И. Инбер — «Сибирская Благовонница», 2018

ISBN 978-5-00127-052-2

В этой небольшой книге автор, игуменья Евпраксия, рассказывает о жизни рядом со старцем, лаврским архимандритом Наумом (Байбородиним; 1927–2017). Много всего удивительного, чудесного происходило постоянно, но разве можно привыкнуть к чуду... А ведь самым большим чудом был сам Батюшка. Отец Наум был живым примером святости, примером невозможного для человека наших дней совершенства, примером полной беспощадности к себе и жертвенности, милосердия и бесконечного терпения. В публикуемых рассказах запечатлены некоторые истории, связанные с его благословениями, его молитвами и заботами о своих духовных чадах.

УДК 291.6

ББК 86.375

ISBN 978-5-00127-052-2

© Инбер Е. И., 2018
© Сибирская Благовонница, 2018

Содержание

Предисловие	6
Школа молодого бойца	8
Гардеробный трест	8
Ну, царство...	10
Алтайские восходы	11
Сама за них молись	15
Тайны послушания	17
«Жизнь животных»	19
Дрогобыч	20
Монинские кошки	22
Ценный груз	23
Черная «Волга»	24
Ближний свет	25
Благословение должно быть на благо	28
Библейская тема	31
Оптинский колокол	34
1	34
2	39
Сербиловские истории	43
Февральский отпуск	48
Бабушкина свечка	58
Синайские камни	68
Летняя практика	75
Карантин	80
Горит мое сердце	84
Вагон	87
Таисия	89
Володя Коломенский	94
Отопительный сезон	96
Отец Федор	99
Дарим тебе дыхание	100
Маленькая часовня	102
Аще не крещен	108
О блаженной Любушке	110
Крым наш	126
Послесловие	129

Игуменья Евпраксия (Инбер) Дарим тебе дыхание: Рассказы о жизни рядом со старцем Наумом

*Посвящается моему духовному отцу, архимандриту Науму
Байбордину, с бесконечной благодарностью и любовью*

© Игуменья Евпраксия (Инбер), текст, 2019

© Сибирская Благовонница, оформление, 2019

* * *

Предисловие

В этой небольшой книге мне хотелось рассказать о нашей жизни рядом со старцем, лаврским архимандритом Наумом. Много всего удивительного, чудесного происходило постоянно, но разве можно привыкнуть к чуду... А ведь самым большим чудом был для нас наш Батюшка. Вот я и решилась запечатлеть в этих рассказах некоторые наиболее яркие истории, связанные с его благословениями, его молитвами и заботами о нас.

Батюшка был для нас живым примером святости, примером невозможного для человека наших дней совершенства, примером полной беспощадности к себе и жертвенности, милосердия и бесконечного терпения.

Абсолютно лишенный всякого тщеславия, он был невероятно скромным человеком, до такой степени, что в результате почти не осталось даже маленьких фильмов о нем. Драгоценные кадры, снятые украдкой. И его небольшой рассказ о своем духовном отце, Алма-Атинском митрополите Иосифе (Чернове), – только потому что о нем, а не о себе. Потому что надо было его прославить. Как Батюшка радовался, когда вышла книга воспоминаний о святом Владыке!

При всем знании и понимании особенностей нашей современности, он удивительно сочетал в себе житие вне времени, его как бы не касалась суэта информационных потоков, никакие внешне- и внутривитальные развороты ни на миг не лишали его всегдашнего предстояния перед Богом и молитвенного устройства души: «Читайте “Древний патерик” и напитывайтесь этим духом, учите Псалтирь наизусть...»

«...Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом; иному вера, тем же Духом; иному дары исцелений, тем же Духом; иному чудотворения, иному пророчество, иному различение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно» (1 Кор. 12, 8–11).

Можно свидетельствовать, что Господь щедро излил на Своего избранника почти все эти дары, а может, и все. Только Батюшка не любил, когда теряют время на бесполезное изучение множества языков, если это не необходимость, например, для ученого-исследователя. Да и зачем ему были языки, если он читал в человеческих душах, как в открытой книге. Бессмысленно было что-то скрывать, на исповеди у него душа любого из нас просматривалась насквозь, на просвет – это был настоящий рентген.

Еще в первые годы своей монашеской жизни отец Наум стяжал дар непрестанной Иисусовой молитвы. И его главной заботой стало возрождение монастырей в России после семидесяти лет плена Вавилонского, возрождение монашеской жизни – делания Иисусовой молитвы в этих монастырях.

Более 40 монастырей открылось в России его трудами. Батюшка сам молился непрестанно и почти в каждой своей проповеди нас к этому призывал: «Иисусову молитву надо читать, как дышать». Практике Иисусовой молитвы посвящена и его кандидатская диссертация.

Десятки архиереев и сотни священников – воспитанники и ученики архимандрита Наума. Сколько храмов ими восстановлено и заново построено!

Благословением и молитвами нашего старца состоялось прославление преподобных Кирилла и Марии, блаженной старицы Матроны. Он отыскал и напечатал житие бородинской старицы Рахили и забытую за многие десятилетия книгу «Откровенные рассказы странника своему духовному отцу». Благодаря Батюшке возродилось почитание написанной по благословию оптинского старца Амвросия иконы Матери Божией «Спорительница хлебов»...

А Ноев ковчег! За послушание старцу его духовный сын поднялся на Арабат и нашел его!

Это только то, что известно мне. А сколько неизвестно... Батюшка был очень увлеченным человеком. Но он сам почти никогда не рассказывал о своих трудах – хорошо еще, что мы хоть что-то узнавали друг от друга.

За много лет до перестройки и разрушения уклада, хозяйства и суверенитета нашего государства, в самом начале восьмидесятых, он уже переживал, предвидя, что ждет нашу Родину впереди. Когда еще никто не подозревал, что все может рухнуть в одночасье.

«В каждом доме должно быть Евангелие! Работайте с людьми, открывайте богословские курсы, занимайтесь с детьми. Крыло мухи влияет на судьбы мира».

Самым главным сокровищем для отца Наума были человеческие души, вот и начинались его монастыри не со стен и украшения храмов дорогими иконостасами, не с удобных зданий с отдельными кельями, а с тех людей, которых Господь посылал под его водительство, которых он растил и вымаливал. Всегда сначала люди, потом стены. Он не боялся брать под свое окормление нас, искалеченных непохвальной жизнью и перемолотых в жерновах безбожного безвременья.

Батюшка все для нас сделал, оставил множество книг со своими проповедями и статьями, историческими и богословскими трудами; это его наследие еще ждет своего исследователя.

Если бы мы всегда были внимательны к тому, что он нам говорил, и послушны! Батюшка ждал от нас помощи и сотрудничества: «А ты проси – кому избавления от страстей, а кому – молитвенников за весь мир». Сколько упущено, сколько испорчено из того, что должно было совершиться по воле Божией через благословения нашего старца и не совершилось из-за нашего непослушания и нерадения.

Разве мы могли вместить огромные масштабы его мышления, скорбей и трудов в ограниченные пределы своего душевного дома...

Но будем благодарны Богу и за то, что все-таки состоялось, несмотря на нашу несостоятельность, за то, что наш старец вымолил для нас, долготерпеливо преодолевая своими молитвенными трудами нашу леность и недостаточность.

Мне не удалось так написать свои рассказы, чтобы там ничего не было сказано обо мне. Очень бы хотелось, но я так не умею. Я не могу отделить слово о нем от своей жизни. Все события жизни, да просто вся жизнь была пронизана светом его личности, мы все каждый день жили и трудились как могли под Батюшкиным руководством, под его молитвенным покровом, согреты его великой любовью, и смерть его нас не разлучила.

И если после прочтения этой книги в мире станет больше людей, для которых имя нашего незабвенного старца, архимандрита Наума (Байбородина), будет дорого и память о нем священна, то задача этого моего скромного труда будет выполнена.

Школа молодого бойца

Гардеробный трест

Незадолго до того, как впервые оказаться у архимандрита Наума, я уволилась с работы. Батюшке это не понравилось, но вернуться обратно было невозможно.

– А что ты теперь хочешь делать?

– Думаю сторожить какую-нибудь контору и петь в храме.

– Ну, вот и хорошо. Посторожишь и попоешь.

И по Батюшкиным молитвам досталась мне уникальная сторожевая работа в самом центре Москвы, на Маяковке, на улице Медведева – в бывшем Старо-Пименовском переулке, со смешным таким названием «Гардеробный трест». Это в советское-то время – контора, которая нанимала гардеробщиков, а потом предлагала их разным организациям. Ну точно «Рога и копыта». Десять комнат, два входа, кабинет директора, кабинет секретаря, где я и обитала, и все. Работаю через два дня на третий. В шесть вечера все уходят и сдают мне ключи, а в девять утра я им ключи возвращаю. В кабинете секретаря пишущая машинка! Я меняла ленту на свою и полночи печатала на папиросной бумаге редкие тогда книги – Лаврентия Черниговского, например, в восьми экземплярах. И еще немного подрабатывала – печатала пачки платежных поручений для директора.

Принимать гостей на работе было категорически запрещено, но кого это интересовало. Почти каждое дежурство у меня появлялись мои друзья и знакомые. Приходил иногда и отец Алексей Царенков – он, приезжая из Ивановской области, встречался в Москве со своими духовными чадами и засиживался с ними допоздна, иногда и у меня на работе. Вот придут они ко мне на ночь глядя с Ниночкой Моисеевой. Метро уже закрывалось... Тогда мы драпировали полотенцем телевизор, батюшка ставил на него дароносицу со Святыми Дарами, я ему составляла кроватку из стульев в один ряд в кабинете директора, на таких же импровизированных кроватках через стенку укладывались мы с Ниночкой. А рано утром я их тихонько, незаметно, по одному выпускала на свободу. Каждый вечер, приходя на работу, окропишь крещенской водой всю контору после толпы гардеробщиков, особенно кабинеты директора и секретаря, и уже можно дышать. А директор по утрам удивлялся: «Не понимаю, почему именно после твоего дежурства я так хорошо себя чувствую на работе – какая-то другая атмосфера». Как-то он мне с гордостью рассказал, что надпись на Мавзолее «Ленин и Сталин» – это его работа. А потом он поменял профессию и придумал эту чудную контору. Такой другой работы, говорили мои друзья, не найти ни в одной столице, ни в Москве, ни в Ленинграде.

Наша бригада сторожей обслуживала несколько организаций в районе Маяковки. Одна из них – Министерство, кажется, «Спецстроймонтаж» – была напротив моей конторы, чуть наискосок, на углу Медведева и Пушкинской улицы. Ее сторожила как раз мама отца Алексея, Екатерина Александровна. Конечно, никто не знал, что она мама священника.

И вот однажды ночью раздается стук в двери: «Открывайте! Проверка». А у меня как раз была в гостях моя подруга Татьяна, будущая дивеевская монахиня Никодима. Она уже спала на стульчиках в кабинете директора. Вот уж пришлось нам помолиться! Они открыли все двери, а главную – в кабинет директора – не заметили. Прошли мимо. Я позвонила по всем нашим постам – проверки изредка бывали, и если уж проверяли, то все посты подряд. Но ни к кому больше они не пришли. Только мы заснули, как снова стук – открывайте, у вас кто-то есть. И опять они прошли мимо директорской двери.

Утром мне позвонила Екатерина Александровна: «Нет, ты представляешь? Наши бабки (которые работали на ее посту в прошлую смену) застучали моего Алешу, который приходил

к тебе с Ниночкой Моисеевой, и доложили куда следует. И главное, мне все рассказали, на тебя пожаловались».

Поехала я к Батюшке:

– Что же теперь делать?

– А ты им скажи, что к тебе из деревни родственники приезжали, сало, молоко привезли.

В следующее дежурство прихожу на работу, и что же вижу – роскошный мраморный подъезд, который выходит на улицу Медведева напротив моей работы, заколачивают, разбирают и пробивают дверь в гранитном цоколе стены, которая выходит на Пушкинскую улицу, за углом. Говорят, распоряжение руководства. Понятно – оттуда не будет видно, кто ко мне приходит.

Я поблагодарила Батюшку, а он только улыбнулся в ответ.

Но бабки стали выходить из подъезда, заворачивать за угол и часами караулить, не идет ли кто ко мне в гости. Я снова поехала жаловаться к Батюшке.

Через пару дней ко мне пришла на работу бригадир и с удивлением рассказала, что руководство приняло неожиданное решение передать охрану Министерства другой бригаде и поменяло весь состав сторожей.

Я еще раз поблагодарила Батюшку, а он, как всегда, отправил меня в Троицкий собор благодарить преподобного Сергия.

Забавная у нас была бригада. Почти все – православные люди. У всех высшее образование. Не с кем было поменяться на праздник – в церковь нужно было всем. И вот с одним из сторожей, назовем его Константин, мы очень подружились (к Батюшке нашему он, к сожалению, не ходил). Костя – филолог, я – что-то вроде: было о чем поговорить за чаем. Какие-то любимые стихи другу почитать, например. Какая-то взаимная симпатия уже появилась, но ничего греховного, на мой лукавый взгляд, в наших отношениях не было. А когда Константин поступил в семинарию и до меня дошло, наконец, что дружбу эту нашу нужно решительно прекращать, я положила в сумку сокровище по тем временам – маленькое Евангелие на рисовой бумаге в мягкой зеленой клеенчатой обложке, – приехала в Загорск, попрощалась с Константином и подарила ему на память это Евангелие: он еще очень удивился, где я его взяла, такая редкость была. И тем же утром иду к Батюшке на исповедь.

Обо всем рассказала, кроме этой истории: «А о чем тут говорить, – думаю, – я к нему и не прикоснулась ни разу даже, никакого греха-то не было».

– Все рассказала? – спрашивает Батюшка.

– Все, – отвечаю уверенно.

– Все? И никто к тебе на работу не приходит? Чай не пьете? Стихи не читаете?

Батюшка с трудом нагибается, что-то ищет под столом в тесной своей каморке и – хлоп! – выкладывает на стол точно такое же Евангелие в зеленой мягкой обложке и пристально смотрит на меня. Я, конечно, в слезы.

– Чаще ходи в гробовой магазин. Это действует отрезвляюще.

– А что мне теперь с этим Евангелием делать?

– А что хочешь. Ты хозяйка.

Драгоценное это Евангелие, немного потрепанное за многие годы, теперь как реликвия стоит на моей книжной полке. Читать мне его уже трудно – очень мелкий шрифт, а так хочется, как когда-то, не расставаться с ним, носить его с собой всегда.

Батюшка все это называл «Школой молодого бойца».

Ну, царство...

Я тогда ездила к Батюшке часто, старалась бывать у него раз в десять дней, как он мне с самого начала благословил.

В тот день я впервые оказалась свидетелем явного чуда, которое совершилось по Батюшкиным молитвам, – обычно он скрывал такие вещи, а тут не удалось. К нему подошла во время приема – это, конечно, было еще в старой келье – молодая женщина, упала ему в ноги:

– Батюшка, помогите, никто, кроме Вас, не поможет. У меня страшные головные боли, я теряю сознание на несколько часов, а дома маленький ребенок, что он может натворить за это время... Врачи от меня отказались.

– Ну вот как с тобой быть, – говорит Батюшка, – это ведь все равно, как если бы человек пришел в первый класс и просил диплом об окончании института. Надо сначала Богу поработать...

– Батюшка, помогите, пожалейте нас!

– Ну ладно, сейчас у тебя вполонину пройдет, а остальное потерпи. Кто тут из Москвы?

Я прижалась к стенке, мне совсем не хотелось с ней возиться, но все молчали, и пришлось признаваться.

– Вот возьми ее, все расскажи, что нужно, подари ей платье. Дай ей акафист Иоанну Крестителю и иконочку его. Пусть она акафист читает, как только голова начнет болеть, и будет проходить.

Самое интересное, что акафист Иоанну Крестителю, перепечатанный на машинке, в тот день лежал у меня в сумке, его мне накануне подарила Елена Семеновна Крепис, которая тогда по Батюшкиному благословию занималась моим воцерковлением. Это была большая редкость в те времена. Я сразу же отдала его Антонине. И картонная иконочка Иоанна Предтечи у меня дома уже была, и тоже вскоре оказалась у Антонины. Кстати, выяснилось, что она жила в городе, который был всего в сорока минутах езды на электричке от моего дома по той же ветке.

Приехала я к ней домой, привезла свое платье в подарок, а она и рассказывает, что вот уже несколько раз, как только заболит голова, начитает читать акафист Иоанну Крестителю, дочитает до середины, и все проходит.

Договорились мы с ней о поездке к Батюшке. Но что-то у меня не складывалось, и я снова приехала к ней, чтобы перенести поездку (телефонов тогда не было ни у нее, ни у меня). А она рассказывает, что поездку и так уже отложила, – ночью ей приснился Батюшка: «Такая красота вокруг него была – ну, Царство. Все как будто под водой происходит. Батюшка стоит в свете изумрудном, а от него в одну сторону плывут какие-то коробки, в другую книги, в третью – машины и еще много всего разбегается по сторонам, а он всем этим руководит, распределяет по назначению. И говорит ей: «Знаешь, здесь сейчас у меня неполадки, надо разобраться, подрегулировать кое-что, ты приезжай ко мне через пару дней». А тут пришел с работы муж, ему поменяли график, и он меня только через два дня может отпустить».

И что интересно, она ведь ничего не знала о Батюшке и совсем новым человеком для него была. Потом мы как-то с ней потерялись, но эта история осталась в памяти навсегда.

Алтайские восходы

На Алтае мы оказались в самом начале сентября в экспедиции по сбору золотого корня, который растет там вдоль горных ручьев. Мне давно хотелось увидеть алтайские горы своими глазами, а тут подвернулась счастливая возможность такой поездки, да еще бесплатно, – уж на дорогу туда и обратно мы как-нибудь золотого корня насобираем. Ну вот в результате только на дорогу и насобирали – нас, естественно, обманули в пункте приема, почти ничего не заплатили. Ну и ладно. Зато побывали-то где!

В палатке мы обитали втроем: Леша, Валя Курьерова и я, каждый в своем спальном мешке-коконе. Мне повезло – вода, которая натекала по утрам в нашу палатку, не добиралась до моего мешка, но каждое утро, на рассвете, меня будил диалог из соседних сырых мешков: Леша рассказывал Вале о своих переводах русских поэтов на английский и английских на русский. А Валя Леше о деталях итальянских интерьеров – это была ее диссертация. И что?

Ехать в такую даль, чтобы слушать тут с утра пораньше московскую болтовню?

Я вылезала из своего мешка тихо-тихо, чтобы не разбудить соседей, и, осторожно ступая по мокрой траве, выбиралась наружу. Огромные камни, поросшие зеленым и розовым лишайником... Рядом со мной пристраивается встречать восход маленькая застывшая ящерица. Справа и слева – бесконечные горные хребты, а мы между ними на камне, в ущелье. Это наш наблюдательный пункт. Эх, туда бы мой сегодняшний фотоаппарат... Невероятные переходы цвета и формы, картина, которую мы с ящерицей созерцаем, все время изменяется, как будто в фантастическом огромном калейдоскопе, который медленно-медленно поворачивается...

Я никогда не любила ни Рериха, ни Чюрлениса. Не то чтобы не понимала, а именно не любила. А после этих невероятных алтайских восходов знаменитые рериховские горные пейзажи, мягко говоря, совершенно бледнеют. Его мутные алтайские картины, «написанные мылом», вообще не похожи на то, что я видела там. Точнее, слегка похожи все-таки, но как будто он сделал нечеткую черно-белую фотографию, а потом наспех раскрасил грязными серыми красками. Не понимаю, что в нем находят ценители. И Чюрленис – его достойный ученик. Вот прямая иллюстрация к вопросу о том, что первично – материя или сознание. Сразу видно, что сознание. Больная голова рождает больное творчество. Как рифмованные мысли – это никогда не поэзия, не искусство, так и рериховские холсты – всего-навсего иллюстрируют его восточные хмурые идеи, воплощают его религиозные убеждения. И художественная несостоятельность, надуманность этих его картин замечательно демонстрирует ложность его мировоззрения.

Сначала мы доехали на поезде до Барнаула, потом до Бийска. Потом на машине до Усть-Семы, и утром на грузовике по Чемальскому тракту вдоль Катунь нас повезли высоко в горы. Дорога закончилась, и мы еще долго поднимались с рюкзаками пешком наверх, дыхания хватало на несколько минут, нужно было все время останавливаться, чтобы отдышаться. Ну вот и пришли. Невероятной высоты кедры вокруг и небольшая полянка, где мы поставили свои палатки на берегу чистейшего горного ручья. Земля устлана огромными блестящими разноцветными листьями бадана – сентябрь. Нет, под кедром не земля, а на полтора – два метра в глубину – кедровые иголки. Наверное, на берегу такого же ручья, только не алтайского, а алма-тинского, случилась история, о которой мне недавно рассказали. Такая же компания путешественников расположилась у горного ручья, и кто-то из них отправился за водой. Склонился над ручьем и вдруг отшатнулся в испуге. Он еще раз подошел с ведром зачерпнуть воды, и опять его отбросило в сторону. Тут из соседних зарослей жимолости вышел незнакомый человек и направился к воде. Оступился, упал и виском ударился о камень. Спасти его не удалось.

Весь день ушел на то, чтобы доставить тело в больницу, разобраться с милицией, и когда все, измученные, задержанные, собрались наконец у костра на ужин, кто-то вспомнил: «А что тебя утром так шарахнуло у ручья два раза подряд?» – «Да я только подошел к воде, и слышу: “И место то, и время то, а человек не тот”. Пришел в себя, думаю – может, показалось. Подошел еще раз, и снова голос: “И место то, и время то, а человек не тот”. Вот и все – тот человек маленько задержался...» Подруга моя, Наташа, наш повар, исполняя заповедь насчет отдай последнюю рубашку, в первые же дни экспедиции отдала туристам, которые забрели в наши края и где-то потеряли свой котелок, одно из двух ведер, в которых мы варили обед. Которое получше, конечно, чтобы все по-христиански. И мы весь месяц мучились с единственным ведром, в нем готовили и суп, и кашу, оно почему-то сразу проржавело, а вода в ручье ледяная... Везет же мне с этими ведрами-кастрюлями в единственном экземпляре. Вот, пожалуйста, XX век, и не найдешь нигде ведра, хоть плачь! И ведь еще весь наш запас сахара им отдала в придачу. Я вот думала, что там, в Евангелии, сказано отдать последнюю рубашку свою, а не чужую. Но уж кто как понимает... Потом вообще вся еда почему-то закончилась, наверное, не только сахар получили те туристы вместе с новеньким нашим ведром, а нам еще неделя оставалась до спуска с гор к тому месту, куда за нами должна была прийти машина. Парни стреляли глухарей, Леша с Валею страшно обиделись на Наташу, и наша компания разделилась на два лагеря. А я тоже обиделась, но поддерживала ее как могла, поэтому Леша с Валею обиделись заодно и на меня. Помирились мы только через год. А тогда даже почти не разговаривали из-за чая без сахара.

Оставшись в результате почти в одиночестве, я частенько уходила на небольшие прогулки и вот однажды, забираясь невысоко в гору, увидела знаменитые жарки. Они были такие невероятные яркие и огромные, что я совсем забыла, что подо мной отвесный провал, потянулась за цветком и почти сорвалась, повисла на руках на небольшом уступе. Помощи ждать неоткуда. А руки у меня очень слабые. Я не понимаю, как мне удалось подтянуться, при моей абсолютной неспортивности, всегдашней школьной двойке по физкультуре. Это точно – у меня открылись со страху «резервные возможности организма». Вот так однажды было и с игуменией Варварой, когда она еще послушницей решила привести в порядок территорию нашего разрушенного монастыря и подожгла сухую траву. А огонь перекинулся на сложенные высоким штабелем тяжеленные огромные лаги, которые нам кто-то привез в подарок для будущих полов и потолков. Лаги загорелись, а это было на тот момент все наше монастырское имущество. И она раскидала их одна, как щепки. Потом четверо мужиков целый день пыхтели – складывали обожженные лаги в штабель.

Мы насобирали несколько мешков золотого корня, путешествуя вдоль алтайских ручьев, отпуск наш уже заканчивался, два наших лагеря временно объединились в один, мы дружно спускались вниз. По дороге остановились на привал у пастухов диких горных коров, такие были аксакалы, страшное дело. Там отстрелили последнего глухаря на обед и вскоре уже забирались в кузов зеленого ГАЗона, в кабине которого рядом с водителем сидел приехавший за нами из Усть-Семы начальник нашей экспедиции. Машина осторожно спускалась по извилистой узкой дороге вдоль бурлящей белой Катунь, слева – Катунь, справа – отвесные высокие скалы с черными подтеками; это мумие. И вдруг грузовик наш стал набирать скорость на спуске, а из окна кабины высунулась лохматая голова водителя: «Прыгайте все из кузова! Быстро! Тормоза отказали. Сейчас всем хана! Я тоже буду прыгать!» Первым выскочил из кабины наш начальник с двумя большими буханками хлеба под мышками. Это было очень смешно. Потом еще двое выскочили из кузова кувырком в кусты огромной алтайской малины, а я не спеша думала, что с моей «ловкостью» точно сломаю себе позвоночник, да уже не успеть резиновые сапоги натянуть, не ходить же там босиком в ожидании машины, которая в лучшем случае через месяц появится... И тут неожиданно на нашей узенькой горной дороге оказалась полянка, а водитель еще не успел выпрыгнуть, пошел на виток спирали и сумел погасить скорость. Мы высыпали

из кузова и потихоньку стали приходить в себя. А шофер оглядел нас и сказал: «Кто-то из вас тут очень счастливый! Мы все сейчас должны были вон там рыб кормить», – и показал на Катунь. Тут до меня, наконец, дошло, что пора молиться и Бога благодарить, и эта первая за все время нашего путешествия молитва была, конечно, молитва Иисусова: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешную».

И еще дошло, что, скорее всего, счастливыми-то были мы с Вале́й – Валя покрестилась за месяц до нашей поездки, а я – всего три месяца тому назад. Не успели еще особенно грехов набрать.

Крестилась-то я, ничего не понимая, не осознавая, мне еще предстояло через полгода в Печорах пережить переворот сознания – крещение покаянием, и Господь, предвидя это, дважды спас от нелепой внезапной смерти грешную мою душу.

И вот через пару лет как-то вечером позвонил мне из Ленинграда на работу Геннадий – самый близкий друг Леши:

– Ты столько нам с Алексеем рассказывала о твоём Батюшке, отце Науме, а я завтра приезжаю на один день в Москву. Отвези меня к твоему старцу.

– А когда ты приезжаешь?

– Рано утром.

– Ну, попробуем. Я сдаю ключи в девять, и можно через полчаса встретиться на Ярославском вокзале. Впритык, конечно, но шанс есть.

На вокзале мы увидели объявление об отмене электричек до часу дня.

– Все бесполезно. Батюшка уходит в два, мы приедем в Лавру в лучшем случае только к трем, к закрытой двери.

– Все равно поедем. У меня будет время часов до пяти, потом бегом на электричку и сразу в поезд. Я хоть на пороге его кельи постою.

– Да кто нас пустит в келью, не пройдем даже через проходную. Знаешь, тогда молись.

И мы поехали с моим некрещеным Геннадием в Сокольники, в ближайший храм; он поставил свечи Матери Божией, вернулись на вокзал и в три часа все-таки оказались в Лавре возле проходной, нас почему-то сразу пропустили, что было в те годы совершенно невероятно, и вот мы стоим в тишине на пороге безлюдной Батюшкиной кельи.

– Ну вот, здесь Батюшка и принимает народ...

И тут послышались шаги, и в пустую приемную, к нашему великому удивлению, заходит наш старец.

– Ну что, приехали?

И начался разговор, который продлился ровно два часа, – как раз все то время, какое было у Геннадия, чтобы он мог успеть на свой вечерний поезд. Батюшка с такой любовью с ним говорил, и шутил, и даже «обижал» осторожно – проверял устройство души. Наш математик все выдержал достойно и смиренно. «Значит, и мама и папа твои – оба евреи? Жаль. Вот если смешивается кровь, ну, с польской, например, эти умнее бывают». И как бы между прочим:

– Где же ты такого хорошего нашла? Сколько тебе? Двадцать семь? Ваши обычно к тридцати крестятся. Ну вот, будешь изучать языки, заниматься древними переводами. Поосторожнее с металлом, с машинами...

Через год Геннадий позвонил мне рано утром: «У мамы онкология, в одиннадцать операция. Попроси Батюшку помолиться о ней».

Я едва успела на нужную электричку, и было уже без пяти одиннадцать, когда я добежала до Батюшкиной приемной. А там толпа во всех комнатах, и он где-то вдалеке, его не видно, только слегка доносится из самой дальней комнаты его голос. Я стою на пороге и кричу внутри себя: «Батюшка, мне бы два-три слова сказать!» И тут он как будто вырастает над всеми и

обращается прямо ко мне: «Ну, говори два-три слова». Народ расступается, чтобы меня пропустить, и я передаю ему просьбу некрещеного Геннадия о своей некрещеной маме.

– Хорошо, но только она должна дать Богу какой-нибудь обет.

На следующий день позвонил Геннадий – операция прошла прекрасно. Потом еще десять дней все было прекрасно, а потом она умерла.

– А она дала обет Богу?

– Я не смог ей об этом сказать...

Прошло еще два года. Моим друзьям исполнилось по тридцать лет, я решила съездить в Ленинград взглянуть на них, и когда оказалась у Леши, он встретил меня в комнате, заваленной словарями, разными изданиями Библии среди кучи всяких рукописей.

– Да вот, решили мы с Геннадием переводами заняться. Он делает новый перевод Деяний святых Апостолов с греческого, а я некоторые библейские книги с древнееврейского перевожу...

– А что у тебя с носом? Был еврей как еврей, а теперь совсем грек с античным профилем...

– Ну надо же, как ты увидела? Ведь никто не замечает. Это мы с Генной вскоре после его поездки к твоему Батюшке были в командировке в Ереване, и маршрутка, на которой мы ехали, попала в страшную аварию. Из одиннадцати человек восемь погибли. У меня травма головы, перелом носа. А у Гены – синяк на коленке.

Вот тут я и напомнила им слова Батюшки насчет занятий древними языками и переводами. И крещения к тридцати годам. И предупреждение насчет машин. Оба они совершенно все это забыли.

Через три месяца Алексей позвонил мне и доложил, что они крестились вместе во Внуто, у отца Иосифа.

– А зачем они делают эти переводы? – спросил Батюшка, когда я ему рассказала о крещении своих друзей.

– Не знаю.

Что еще я могла ему ответить... Вскоре, к сожалению, наша дороги совсем разошлись...

– У меня в Ленинграде никого нет, – услышала я как-то от своего старца, когда попыталась найти там для моих друзей священника из числа Батюшкиных чад.

Сама за них молись

Несколько лет подряд после моего крещения отец каждое утро открывал холодильник и уговаривал меня съесть бутерброд с колбасой или котлету, – а мы тогда постились отчаянно: если уж Великий пост – то одни огурцы с хлебом, и каша никакая по средам и пятницам все остальное время года.

Ядерные боеголовки на полигоне, где отец служил и мы с сестрой росли, время от времени взрывались, и родители делали все что могли, чтобы сохранить наше здоровье. Каждое лето нас возили на море на месяц-два, а потом до сентября мама водила меня по московским театрам или концертным залам. Как же я страдала в том военном городке по московской архитектуре – среди безликих из белого кирпича одинаковых двухэтажных домов. Весь год ждала лета и не могла потом в Москве надышаться красотой. А родители полгода откладывали деньги на летний отпуск, а после отпуска полгода отдавали долги, так что всю одежду мама шила сама, даже пальто, вязала нам кофты и костюмы, мебель никогда не покупали – все было просто, как у всех там тогда, шкаф с алюминиевой биркой из ГЖЧ в углу, сундук и кровати. Зато браконьеры развозили по всему городу огромных рыб – белуг и осетров и черную икру. Нам давали по пол-литровой банке икры и столовые ложки. Ешь сколько влезет. Арбузы катались по всему дому, 4 копейки кг, мы ели их на спор – кто больше... Школьников возили не на картофельные поля, а на помидоры. Что не успевали собрать, просто запахивали. Так что все деньги уходили на летние поездки на море и на питание. С едой всегда было все в порядке. Да и потом, в Москве, уж на что-что, а на еду отцовской полковничьей зарплаты всегда хватало. Так что тем более непонятно было, как так получилось, что у него обнаружили вдруг открытую форму туберкулеза – три каверны в легких. Может, конечно, это были отголоски войны...

«Туберкулез непобедим», – услышала мама от врача в Одинцовском госпитале, куда папу сразу определили, как только поставили диагноз. Я поехала к Батюшке и рассказала ему о внезапной болезни отца. И ровно через месяц его выписали из больницы с записью в медицинской карте (эта карта и сейчас хранится у мамы в старой отцовской полевой сумке, где собраны его военные документы): «Редкая форма спонтанного излечения туберкулеза».

– Батюшка, они все равно совсем не молятся!

– Сама за них молись.

А через несколько лет у отца заболел живот. Очень заболел, но он долго не давал маме вызвать «скорую». Когда она поняла, что дело совсем плохо, побежала по улицам искать работающий телефонный автомат (почему-то тогда срезали телефонные трубки в автоматах), нашла – успела и вызвала «скорую». Отца тут же увезли в больницу и сразу положили на операционный стол. Хирург потом сказал, что еще бы несколько минут – и все, аппендицит бы лопнул, перитонит был обеспечен.

После операции отец вернулся домой, сначала все было хорошо. Я каждый вечер проверяла у него шов на животе и приклеивала на этот чистенький розовый шов лейкопластырем марлевую салфетку. Но через пару дней у него поднялась температура. Вызвали врача, зондировали живот – гноя нет. И терапевтических показаний тоже нет, по всему температуры быть не должно.

Рано утром я поехала на электричке к Батюшке. Рассказала ему все.

– У него там остался гной.

– Батюшка, врачи проверили – гноя нет. А он вдруг стукнул кулаком по столу:

– Я тебе говорю – у него там остался гной!

Вернулась я домой, мама открывает мне дверь, смотрит на меня как на врага, моя интеллигентная мама:

– Я тебя сейчас убью!

– Господи, что случилось?

Оказывается, утром, пока я была в Лавре, у отца на животе, там, где я заклеивала шов, образовался сизый шар размером с грушу. Вызвали «скорую». В машине гнойный шар лопнул, гной вылился наружу, рану промыли, обработали. И температуры уже больше не было.

– Батюшка, они все равно не молятся!

– Они у тебя как дети. Сама за них молись.

Так Батюшка дважды продлил моему отцу жизнь на покаяние. И он успел прийти к вере и умер христианином.

Тайны послушания

В начале восьмидесятых у меня было послушание от Батюшки – покупать и привозить ему летописи, которые тогда издавала Академия наук. Он в те годы особенно интересовался историей, событиями времен татаро-монгольского ига, Куликовской битвой. А однажды отправил меня в Историческую библиотеку – иди и ищи сведения о Тамерлане. Я совсем не историк, но с каталогами работать приходилось немного в Ленинке и в моей любимой Тургеневской библиотеке – долго не могла пережить, что ее снесли в одночасье. И вот забралась в предметный каталог, там огромное количество карточек, и буквально наугад вытянула одну из сотен – какая-то тоненькая книжечка, которую до меня кто-то просматривал только один раз и очень давно. Переписала ее, дома перепечатала и отвезла Батюшке. И услышала от него:

– А ты знаешь, что сделала историческое открытие?

– Это Вы, Батюшка, сделали открытие. Я – как инструмент, за послушание...

А в книжечке той подробно описывалось, как к Тамерлану, когда он вошел в Багдад, пришли тамошние женщины и рассказали ему, что в городе все мужчины мужеложники. Тогда он дал приказ своим воинам назавтра принести каждому по голове мужеложника, а кто не принесет, свою потеряет. «Помнишь Верещагина “Апофеоз войны”? – сказал мне потом Батюшка. – Вот они, эти головы, в пирамиды сложенные».

Потом несколько лет подряд Батюшка в своих проповедях рассказывал эту историю, говоря о том, как Господь «и врага Своего может заставить работать на Себя», что такие личности, как Тамерлан, – это бич Божий народам за грехи.

Однажды я приехала к Батюшке на электричке, как обычно. Встретилась с ним в коридорчике у левого входа в его старую каменную келью. Увидел меня:

– Ты на машине приехала?

– Нет, – говорю, – пешком.

А он сразу строго взглянул на меня:

– А ты врать научилась.

И прошел мимо. Это надо было тогда пережить. Так нас учили отвечать за каждое слово.

Жизнь моя была ленива и маломолитвенна и почти не менялась, несмотря на все Батюшкины труды над моей душой. Однажды Батюшкино терпение кончилось, и я услышала от него: «Будешь поступать в мединститут. На дневное отделение». Все было бесполезно, слезы не помогали, он не слушал никаких моих возражений: «Иди готовься».

Мне уже было тридцать пять – это предельный возраст для поступления. И в сентябре должно было исполниться тридцать шесть.

– Документы уже не принимают! – радостно сообщила я Батюшке.

– Ничего, иди в Министерство, проси, добивайся.

Пришлось походить по кабинетам, а еще – раздобыть школьные учебники и вспоминать давно забытые знания. Когда я наконец пришла к Батюшке и обреченно доложила ему, что разрешение получено, он весело взглянул на меня:

– Ну что, все поняла? Отменяется. Иди молись.

Как-то приехала утром к Батюшке, а вечером в шесть мне нужно было быть в этот день на работе, моя смена была. А Батюшка – на улице, среди народа, и спрашивает: «Кто поедет на подсобное хозяйство трудиться?» Я думаю: «Как же я поеду, мне ведь не успеть тогда на работу». И стою на месте, а люди идут к нему, те, кто на подсобное хозяйство. Он глянул на меня и говорит им: «Давайте, давайте, отделяйтесь от шелухи». Мне так страшно стало:

будь что будет, и я тоже пошла за ними. Приехали на подворье. Я оказалась на послушании на конюшне, дали мне вилы конский навоз убирать. А рядом со мной с такими же вилами отец Виктор – теперь он уже много лет духовник Горненского монастыря в Иерусалиме. Он и говорит: «Смотри, вот так и исповедь: слой за слоем, сначала тяжело, а потом все легче и легче». Часа два поработали: «Ну, – говорит, – мне пора в Москву». – «Батюшка, а меня возьмете?»

Мы пошли с ним попрощаться с начальником подворья. И получили огромные пакеты с подарками, конфетами и всякой всячиной – в то голодное время! После двух часов труда! И я, конечно, вовремя успела на работу.

«ЖИЗНЬ ЖИВОТНЫХ»

Батюшка за весь мир молился. Не только за людей. Его все интересовало – и птицы, и разные зверушки. Помню, показал он мне детскую книжку, а там стишок:

Три вороны были в среду,
Мы не ждали их к обеду,
А в четверг со всех краев —
Стаи жадных воробьев.

«Разве можно, – говорит, – так? Давай зачеркнем и напишем – “шустрых”. Вот и ты исправляй такие вещи».

Однажды Батюшка благословил мне купить ему многотомник Брэма «Жизнь животных» и дал на покупку сто рублей. Я вернулась в Москву, позвонила знакомым букинистам. Меня подняли на смех – купить все тома сразу нереально, разве только отдельные случайно, и какие там еще сто рублей!

На третий день я спохватилась – старец благословил, а я что делаю? И утром прямо после работы отправилась в ближайший букинистический в Столешниковом. Подхожу к прилавку. Я их сразу узнала: лежит стопка в пестрых обложках, перевязанная бечевкой. Даже спрашивать ничего не стала, иду в кассу. «Мне Брэма», – говорю. И протягиваю сто рублей. И получаю чек.

Вышла из магазина и тут же вернулась.

– А у вас, – спрашиваю, – часто Брэм бывает?

– Только отдельные тома.

– А это?

– Отложили для одного человека, а он не пришел. Третий день лежит, сами удивляемся.

Как же я полетела с этими книгами тяжеленными, когда вышла потом из магазина... Поскользнулась на льду, упала на спину, но не ударились головой, слава Богу. Только книги спасала, чтобы не упали, не повредились, успела их поднять над собой, может, глядела на них вверх, вот и не разбила голову.

Дрогобыч

Тогда же, в восьмидесятые, мне пришлось по послушанию поехать на Западную Украину – одна наша хорошая знакомая, очень ревностная, но лишенная на тот момент духовного рассуждения, оказалась сначала в Почаеве в какой-то секте под горой, в пещере, там ей даже вырезали крест на спине, а потом попала в психушку недалеко от Львова. Вот Батюшка и отправил меня туда, проверить, там ли она, и как можно ее оттуда извлечь.

– Только не задерживайся, туда и обратно.

Пыльные улицы – дороги без тротуаров, старенькое, когда-то белое, здание больницы. В регистратуре сказали, что девушку отдадут маме, когда она за ней приедет. Ну и надо было сразу возвращаться в Загорск, докладывать результат поездки. Так ведь нет, у дьявола все просчитано, как Батюшка однажды мне сказал. Когда я садилась еще в Москве в поезд на Киевском вокзале, я встретила на перроне своих знакомых – Иру с друзьями. Оказалось, что мы едем в одном купе. Ира тогда преподавала теорию вероятности на мехмате в МГУ. Брат ее, Геннадий, серьезный историк, расстался с Академией наук и алтарничал в Пименовском храме на Новослободской, а по ночам подрабатывал там сторожем. Понятно, в семье к этому отнеслись однозначно. Но однажды он спросил у сестры: «А ты не задумывалась, что в твоей жизни слишком много совпадений, чудесных встреч, удивительных находок и странных событий; ты это называешь случайностями, да? Ну, вот, как математик, просчитай это по своей теории вероятности». Ира посчитала. Полученный результат совершенно не вписывался в пределы этой теории – цифры просто зашкаливали. И тогда она пришла в церковь.

Проводница принесла нам густой чай в граненых стаканах с серебристыми подстаканниками, вагон покачивался, ложки позвякивали на стыках рельс, мы не спешили расстилать сыроватые серые простыни и дотемна рассказывали наперебой друг другу разные истории, пока не поняли, что больница, в которую я еду, совсем рядом с тем местом, куда едут они. «Так ты приезжай к нам в Дрогобыч, в Грушево, там сейчас явление Божией Матери. Полчаса на автобусе, найдешь там нас, и обратно поедем вместе».

Автобус до Дрогобыча по расписанию нужно было ждать почти час, и я решила зайти в церковь, купола которой виднелись невдалеке от больницы между деревьями. Покосившийся забор с ободранными кирпичными столбиками, вот и калитка со стороны алтаря. Только я собралась повернуть к колокольне, чтобы найти вход в храм, как вдруг откуда-то вынырнул молодой пономарь в рабочем халате:

– Тебе, жинка, в церковь? Ну пойдем, – и, открыв дверь, вежливо пропустил меня вперед, и я уже почти перешагнула порог, как увидела Престол.

– Так это же алтарь!

– Та ничего, мы все тут ходим, так ближе. Батюшка благословляет.

– Ну, передай привет своему батюшке, а я, пожалуй, пойду подожду автобус.

– Да у нас все, даже уборщицы, тут ходят, – пробормотал пономарь, – там сейчас вход закрыт. Ну ладно. Пойдем. Открою тебе, раз такое дело. Из Москвы, говоришь...

Мы обогнули церковь, и он открыл ключом центральный вход. Все помещение храма было устлано коврами, где-то впереди, перед невысоким голубым с позолотой иконостасом, на аналое лежали две иконы, и больше я не увидела икон. Кроме одной, которая во множестве украшала белые стены. Это был так нелюбимый мною живописный образ Спасителя в терновом венце: обрамленный аккуратными локонами лик, вполоборота, на неестественно широкой шее. Он мне всегда казался каким-то католическим. Так вот, этих одинаковых картонных икон было штук десять, и они висели на стенах с двух сторон, симметрично, глядя друг на друга.

Сказать было нечего, мы распрощались с пономарем, и через час я уже вышла из автобуса в Дрогобыче.

Дорога до Грушева специально для встречи паломников была залита свежим гудроном, подошвы прилипали, ноги расплзались, но я все-таки не упала, дошла. Нашла своих знакомых на сеновале, и ночью меня повели в сад. Там уже по всем углам народ распевал молитвы, и все смотрели в одну сторону – на стене старой, красного кирпича, часовни действительно появилось черно-белое изображение иконы Успения Пресвятой Богородицы, как бы составленное из теней листвы. Рядом, по балкону, время от времени перемещалась какая-то женская тень, и тогда при виде ее все ещё громче пели молитву «Богородице Дево, радуйся», как-то странно, не по-нашему, разделяя молитву пополам и какие-то еще слова вставляя посередине. Все это никакого впечатления на меня не произвело – кроме тревоги и нелепости моего там присутствия. Да здесь же одни униаты! И зачем мне эти тени, это им – тени, а нам, православным, дана полнота. И тут появились спортивного вида люди в штатском и всех отвели в стоящий неподалеку автобус. Я оказалась в последних рядах. Около кабины водителя был как бы президиум, где восседали три гражданина-начальника, и старший из них общедоступно объяснил, что все православные люди сейчас в Почаеве, потому что праздник Успения, а вы зачем здесь? Приготовьте документы, и по очереди будем разбираться.

Все правильно – наши в Почаеве. А я здесь зачем? Это называется – «камни возопиют». Ну вот и все – отца уволят, он этого не переживет, и как я буду жить дальше, с какой совестью... Если бы еще за Православие пострадала, а то вкупе с униатами. Но до меня дело не дошло – выловили кого-то важного, а всех остальных выгнали из автобуса и отправили по домам.

Мои попутчики куда-то делись, я добралась до автобусной станции. В буфете за соседним столиком двое в штатском все время поглядывали на меня. Понятно. Хвост. Они сели вместе со мной в автобус. И во Львове тоже крутились все время рядом, неотступно. Мне уже не надо было никаких львовских красот. В кассе сказали, что на прямой поезд до Москвы билетов нет, только до Киева. В вагоне до Киева эти двое снова были рядом – надо как-то отрываться. В Киеве они спокойно ушли пить чай, потому что московский поезд должен был отправиться часа через два. Только ребята были местные, а я-то москвичка.

Я еще раз подошла к билетной кассе.

– Поезд на Горький через Малоярославец вот-вот отправится! Договаривайтесь с проводниками.

Ну а через Малоярославец-то от Калуги до Москвы мне приходилось ездить не раз. Проводник плацкартного вагона уложил меня на верхнюю боковую полку: «Потом расплатишься». И ночью разбудил: «Идем со мной, пора платить за дорогу». Слава Богу, я сообразила сквозь сон, что к чему, и ответила ему, что никуда не пойду, и если он сейчас же не возьмет деньги за проезд, я буду ждать начальника поезда. А тот как раз вскоре и появился.

В Малоярославце пересела на калужскую электричку, и сразу с вокзала на вокзал к Батюшке. Рано утром я уже была в Лавре. К Батюшке – не пробиться, и когда он, в самом конце приема, заметил меня, вдруг громко сказал: «Тут одна ехала ночью в поезде, проводник ее заманил в свое купе, и она сильно пострадала...»

«Да они там все недоразвитые», – услышала я от Батюшки, когда рассказала ему потом про свое «знакомство» с униатами.

Монинские кошки

– Батюшка, что делать? Мария-то, монинская, чтобы кошек прокормить, наладилась ворованные на мясокомбинате обрезки покупать, кошки-то у нее живут, а душа-то, душа погибает».

– Ну, вот расскажи матушке, как туда доехать, всех кошек заберете и завтра привезете сюда. Тут кухня рядом, будут сыты. Им тут хорошо будет. Езжайте-езжайте, это вам по дороге. Отправь туда сестер, а сама поедешь в Зосимову пустынь – там сегодня прославление преподобного старца Зосимы.

У Батюшки всегда все было «по дороге», хоть Момино, хоть Пермь, да вот только это невозможно было объяснить нашему водителю. Володя ворчал до самого Момино: «По дороге... Ничего себе крик! Это когда же мы домой приедем?»

Мария только радовалась, наблюдая, как ее любимые кошки, с трудом выловленные сестрами, выскакивают из закрытых коробок и разбегаются в разные стороны.

Сестры вернулись в Лавру с пустыми руками, и на следующий день Батюшка все утро проходил мимо них и огорченной матушки, пока, наконец, не сказал ей строго: «Послушание не выполнено. Тебе надо наказывать сестер. Неужели нельзя было хоть одну кошку в мешке сюда привезти? Поезжай теперь в Момино сама. Сейчас. А кошек на этот раз отвезете к себе в монастырь».

«Издевательство какое-то, зачем нам эти кошки, да не поеду я никуда, вам надо – вы и добирайтесь на электричке, меня жена второй день дома ждет», – ворчал Володя, но потом очень даже помогал сестрам ловить по всему двору и огороду монинских кошек. «Ну хоть одну-то мне оставьте!» – но сестры деловито запихнули всех в наволочки, попрощались с хозяйкой: «Приезжайте к нам в гости!» – и вечером мокрых, перепуганных кошек, их было штук десять, вытряхнули из машины, и они разбежались кто куда. Интересно, что на следующий день все они по-хозяйски разгуливали по монастырю, освоились практически сразу.

Через несколько дней приехала Мария навестить своих любимцев и забрать домой хоть одну, но ей не дали никого. В следующий раз она уже не спрашивала, а просто тихонько увезла в сумочке в Момино своего самого любимого кота.

А вскоре на берегу Тверцы нашли первую убитую кошку, через несколько дней еще одну. Что это было? Где-то за месяц почти всех монинских кошек одну за другой ритуально убили за воротами монастыря.

В тот год в городе появились сатанисты; наверное, они и раньше в Твери были, но тут как-то стало о них всем известно, рассказывали, что они убивали на Неопалимовском кладбище кошек, на месте снесенного большевиками храма.

Может, пытались так нас запугать? А может, эти кошки спасли своей смертью жизни сестер? Говорят, так бывает...

Ценный груз

– Вам надо завтра привезти теленка из Ярославля сюда, в Загорск.

– Батюшка, машина-то у нас легковая. Но это уже никого не интересовало, и отец Виктор в Ярославле как-то запихнул крепко связанного теленка в свою легковушку. Возле Александра стало понятно, что до Загорска его живьем не довезти.

– Вот нам и пришлось, Батюшка, оставить его на хозяйстве у наших знакомых, – доложил отец Виктор архимандриту Науму, вернувшись на следующий день в Лавру, и вдруг услышал от него совершенно неожиданно резкое:

– А тебе разве было сказано, какого теленка привезти, живого или мертвого?

«Ну и что тут такого особенного, да ничего», – наш разговор с Петровичем как-то оборвался, правда, мы с ним успели договориться о поездке к Батюшке в ближайшие дни. Петрович недавно продал свою машину: «У христианина не должно быть личного автомобиля, надо жить как все», – и теперь был безлошадный. В Лавру он нас повез на новеньких служебных «Жигулях».

И сестрам, и Петровичу удалось попасть на этот раз к старцу, и мы уже были почти за дверью, как услышали вдогонку:

– Поезжайте-ка прямо сейчас на Киров-ку к Насте, возьми адрес у Пелагеи. Там заберете телочку, вам пригодится.

Мне сразу стало все понятно, наверное, Петровичу тоже. Он сначала еще надеялся, что все обойдется, но Настя вывела за ворота замечательную, совершенно черную бодрую телочку Ночку. Хозяева вынесли нам в приданое большой кусок плотной полиэтиленовой пленки, телочку связали, запеленали в полиэтилен и с трудом засунули между задними и передними сиденьями. Сестры кое-как примостились рядом. Когда уже на Орше измученные сестры выбрались из машины, размотали Ночку и выпустили ее на травку, стало ясно, что директору придется пока обойтись без служебного транспорта. Два дня сестры с утра до ночи отмывали «Жигули»; это, наконец, удалось, и мы все-таки остались с Петровичем друзьями.

Черная «Волга»

Начало девяностых... Ни дороги тогда еще не было, ни машины, ни телефона. Ни денег никаких... Колодец в конце деревни. Так не только наши монастыри начинали свое восстановление.

Но хуже всего было без машины – любое дело сразу обрастало кучей проблем. Через год Владыка подарил нам старенькие белые «Жигули»: «Неудобно даже дарить – такой металлолом», – но мы и этому были рады. Нашелся и водитель. Мы не сразу поняли, отчего он такой невеселый, – потом стало ясно. Он, оказывается, много лет был личным шофером у нескольких директоров подряд и все эти годы ездил на служебных новеньких «Волгах». А тут такой позор: битая-перебитая «четверка». Вот он и боялся встретить на тверских перекрестках кого-нибудь знакомого – засмеют.

И вот однажды приходит он утром на работу: «Матушка, мне сегодня Батюшка Наум приснился.

– Как у вас дела? – спрашивает.

А я ему отвечаю:

– Все думали, что плохо. А тут приехал отец Андрей из Дивеево, освятил на Орше место под баню. Да и сказал, что у нас дела идут семимильными шагами, и лет через пять тут все будет сиять и сверкать.

– А как у вас с транспортом? – продолжает Батюшка.

– Одна старая машина, – говорю, – на два монастыря.

И тут он меня осенил с ног до головы тонким золотым крестом. И я проснулся».

Я вскоре забыла этот Володин рассказ, началась карусель всяких монастырских дел, забот, гостей. Одним из них был в тот день директор тверского завода «Элтор» Юра Пархаев. Вот сидим мы с ним за столом, пьем чай. Юра спрашивает меня о нашей монастырской жизни. И на обычный вопрос «как дела?» я ему рассказываю о приезде к нам старшего священника Дивеевского монастыря, о том, как он освятил у нас место под строительство будущей бани и даже пообещал, что если все пойдет так, как сейчас, то через пять лет мы не узнаем свой монастырь: «Все тут будет сиять и сверкать». Следующий вопрос:

– А как у вас с транспортом?

– Ну как, – говорю, – да никак. Одна машина на два монастыря.

– Мою черную «Волгу» помнишь? Забирай. Правда, она не новая уже, сама понимаешь.

Тут я и вспомнила Володин сон... Вышли мы на улицу, а там Володя во дворе отмывает наши старенькие «Жигули».

– Ну вот, – говорю, – Володя, Юрий Михайлович дарит нам свою черную «Волгу».

Что тут было! Радости Володиной – не передать.

Приехали мы к Батюшке:

– Батюшка, Вы нам вымолили машину!

И услышали, как обычно:

– Идите к преподобному Сергию и его благодарите...

Ближний свет

«Будешь тут, под боком», – и Батюшка отправил меня в Хотьков, определив в число первых двадцати хотьковских сестер. Но время шло, и вместо Хотьковского монастыря открылся в восемьдесят девятом году Ново-Голутвинский в Коломне, и я оказалась в коломенском списке. «Вот тебе и под боком – не ближний свет», – а Батюшка в ответ на мои помыслы, которые я не осмелилась произнести вслух, весело глядя на меня, всем сообщил: «Есть такое животное, жираф, оно ноги промочит, а через две недели у него насморк».

А теперь совсем уж дальние края: полдня добираться из Твери до Лавры, через Москву, с электрички на электричку, а то и до самого вечера.

«Поезжайте-ка в Пермь, к матушке Марии, у вас же есть машина?» – такое послушание неожиданно получили мы от Батюшки зимой, в середине февраля, и новыми глазами увидели нашу черную «Волгу» после капремонта, на которой не то что до Перми, а до Боровска нам недавно не удалось доехать. На следующий день был какой-то праздник, и в Воскресенском соборе к нам подошел Валера Гусев:

– Матушки, сообщаю вам, что у меня новая хорошая машина, и я теперь совершенно свободный безработный человек, так что можем ехать куда угодно – я в вашем полном распоряжении.

– Валера, Вы хорошо подумали? Действительно куда угодно?

– Ну да. Я отвечаю за свои слова.

– Тогда едем в Пермь.

– Сейчас?! Зимой?!

– Именно.

– Ну что же, значит, едем.

Гусева уже вряд ли можно было чем напугать. В Тверь он перебрался на ПМЖ после того, как под Питером у него отобрали бизнес – сначала застрелили одного соучредителя, потом второго. Чтобы не стать третьим и последним, он отдал бандитам свои знаменитые на всю страну «Колпинские пельмени» и теперь ежедневно ходил в храм на службы и думал, чем заняться дальше. Мы взяли с собой еще двух оршинских сестер и все прекрасно разместились в новенькой «Тойоте» – микроавтобусе с поворотными креслами, со столиком посередине. Куда потом делась эта замечательная машина, жаль, что он ее поменял...

Дорога, через Казань, показалась нам невозможно долгой и трудной. Запомнилась гостеприимная матушка Нина, игуменья Зилантова монастыря на окраине города, и игуменья Цивильского монастыря Агния, которая спокойно и мужественно говорила о том, что у нее рак, жить осталось недолго, и она старается завершить свои земные дела с максимальной пользой для обители...

Двое суток по бескрайним и безлюдным зимним просторам, и вот мы у ворот Пермского женского монастыря. Нас встречает игуменья Мария, приглашает к себе, а нам и нечего сказать, зачем мы приехали: «За послушание нашему старцу».

Большой двухэтажный дом посреди города, в котором всё: и сестры, и матушка в маленькой келье, и трапезная, где по воскресеньям занимаются дети воскресной школы, и тогда сестры с тарелками расходятся на обед по своим кельям. Во дворе хватает места для двух-трех машин и нескольких деревьев – вот и вся монастырская территория. И крошечный храм, к которому надо идти через жилой квартал. Зато какие там мошевики! И как же любят сестры свою обитель и свою матушку... Мы побывали на деревенском подворье монастыря – там все устроено удобно и разумно, вот и есть у сестер место, где им совсем не тесно. А матушка – врач, кандидат наук, раньше читала лекции в медицинской академии, и сегодня продолжает

преподавать, только теперь ее занятия – это интересные богословские беседы со студентами, сестрами и прихожанами монастыря, и дома, и в храме, и на бесконечных конференциях, а ее книги и статьи – о святых пермской земли, о древних и о новомучениках XX века.

Огромный собор Белогорского монастыря, весь залитый кровью убиенной братии... Мы приехали туда в короткий морозный день. Идем по утопанному снеговому насту. Из-под плотного снега ровными рядами торчат короткие деревянные колышки – это двухметровый забор, он весь остался под снегом. А в храме тепло.

– Как же вы отапливаете такие пространства?

– Да братия каждый день привозят из леса по восемнадцать кубов дров – целый грузовик. Какие труды, какая долгая и трудная зима... И похоже, никто особенно не унывает.

Вечером мы услышали от матушки замечательную историю, которая намертво впечаталась в память.

Матушкина знакомая с шестнадцатилетним сыном – назовем его Петром – вместе причастились в Лазареву субботу и пошли домой. Мама еще подумала: «Почему же Господь сейчас никого так же не воскрешает?» Переходят дорогу, и вдруг сын видит – человек какой-то лежит на капоте, а мама мечется в красном плаще и кричит: «Убили! Убили!» Кого убили? И понимает, что на капоте лежит он. «Мама! Я живой!» А мама ничего не слышит. Петр ее обнимает, а она ничего не чувствует. Все бесполезно. Нет связи. И тут на асфальте появляется влажное радужное пятно, как бывает на лужах, где разлит бензин, и из этого пятна вырастает, ну прямо как старик Хоттабыч, буквально взвизгивает трехметровый демон. Он такой ужасный, что все монстры, которых Петр видел в фильмах ужаса, детские игрушки по сравнению с ним. Он враскачку медленно приближается к Петру, а тот понимает, что главное сейчас – не встретиться с ним взглядом: будет тогда привязан к нему, как бабочка на ниточке.

В этот момент за спиной Петра появляется трехметровый Ангел Хранитель, с огромными крыльями, а одет он точно так же, как облачаются диаконы на службу, – в стихаре и с орарем крест-накрест. И говорит демону: «Отойди от него. Ты не имеешь здесь части, потому что он сегодня причащался». И тот мгновенно свивается в точку и исчезает вместе с этим бензиновым пятном. И Ангел говорит: «Вот смотри. У тебя есть еще три дня на земле. Можешь побывать где хочешь». – «Так я же нигде не был! Я в Америке не был!» И тут же оказался в Америке. Три дня так по всему миру путешествовал и вот под вечер третьего дня оказался в Перми, в парке, на том месте, где раньше стоял собор, взорванный в хрущевские годы, и увидел стайку парящих в воздухе белоснежных херувимов с трепещущими крыльями, и услышал, о чем они говорили, и это его просто потрясло. И тут же перед ним появился его Ангел Хранитель: «Смотри, никому не рассказывай о том, что ты сейчас здесь услышал!» – «Это – и не рассказывать?! Да я всем, всем расскажу!»

Тогда Ангел провел крылом перед его лицом, и он все забыл. Все, что тогда услышал, помнит только, как они летали... А что говорили?

В это время мама его стояла на коленях перед иконой Пресвятой Богородицы и даже не просила, а требовала, чтобы Матерь Божия воскресила ее сына. И услышала: «Мне нетрудно его воскресить, но для него лучше, чтобы все осталось как есть».

Но она все плакала и просила, и тут Петр увидел свое тело, на больничной кровати в реанимации, в шлангах, трубках, вокруг врачи, и осциллограф, подключенный к сердцу, выводит прямую линию. «Меня положили на мое же тело: ноги на ноги, руки на руки, лицо на лицо – и как бы вставили меня в меня», – и он увидел, как на экране осциллографа появилась синусоида...

Прошло несколько лет, и мама рассказала матушке, что сын ее не очень удачно женился, как-то живет среднестатистически...

В Тверь мы возвращались уже другой дорогой, через Киров, и когда мы наконец добрались до Костромы, я поняла, что мы почти дома. Да вообще уже дома. И Тверская область с тех пор для меня все равно что Московская, и три часа теперь до Лавры на машине – это совсем ничего, это просто «под боком». И много еще всего поняла и переоценила благодаря этому нашему неожиданному зимнему путешествию, которое мы теперь часто с Гусевым радостно вспоминаем.

Благословение должно быть на благо

Однажды так случилось, что пришлось мне долго искать, спрашивать своих московских знакомых, не знают ли они схимонахиню Ф., о которой говорили, что она живет в Москве, где-то на Красносельской, лежит лет сорок, не вставая – у нее дар прозорливости, она так и говорила о себе: «Что моя губка шлепнет, так и будет». Меня попросил найти ее знакомый батюшка, у которого тогда были большие трудности в духовной жизни. Когда-то по благословению нашего старца он приходил ее исповедовать, но позабыл, где она живет. Наверное, год прошел, я уже потеряла надежду ее разыскать. И вот однажды мы с Ларисой Акимовой пришли на Немецкое кладбище на могилу старца Захарии, ставим цветочки, и вдруг Лариса ни с то ни с сего и говорит мне: «А ты не знаешь схимонахиню Ф.?» Мы сразу поехали к ней на Красносельскую. Позвонили. Дверь открыл ее племянник и сказал, что матушка сегодня не принимает. И услышали издали: «Этих приму». Я увидела кроватку, на которой, казалось, никого не было, одно только матушкино лицо на подушке и такие глубоко запавшие глаза, просто темные ямы, и глаза там на дне. Я попросила ее помолиться за отца А.

– А вы к кому ходите? К Науму? Наум – у него большой ум.

Я только подумала, что матушка, наверное, долго не проживет и я вряд ли еще ее увижу, а она и говорит мне:

– Нет, ты еще ко мне придешь. Приходи ко мне на Пасху.

Пришлось сразу привести в порядок свои помыслы, «расчистить внутреннее пространство».

Заканчивались пасхальные дни, я вспомнила, что должна навестить матушку Ф., купили мы с Ларисой цветы и пошли ее поздравлять. Надо что-то спросить у нее, так, вроде, полагаются, а у меня нет вопросов. У меня вообще не было почти никогда нерешенных вопросов, потому что был Батюшка. Мы и не бывали больше ни у кого, если только по его благословию. А зачем? Прийти вот так и молчать? Ну, я наскребла каких-то мелких вопросиков, матушка спросила:

– С чем пришла?

Я стала говорить, а она отвечает:

– Чепуху ко мне принесла, не ходи больше.

Ну правильно, вопросов-то не было. Я только еще попросила ее помолиться о моих некрещеных родителях, чтобы они стали православными людьми. И вдруг она мне отвечает:

– Это что же, я буду за них молиться, а сама вместо них в ад пойду?

Еще она спросила:

– Что же ко мне отец Наум никак не придет, я все его жду...

Я тогда не нашлась, что ответить.

Приехала к Батюшке. Рассказала, как побывала у матушки Ф.

– Как же ты меня не защитила, не сказала, что я так занят!

А когда передала ему ее ответ на мою просьбу помолиться за родителей, он совсем расстроился:

– Интересно, от какого же духа у нее тогда прозорливость...

«Наумовская девочка» – так называл меня отец Х., с которым мы перетягивали канат: он уводил моих друзей на страну далече, сначала в Зарубежную Церковь, а потом и впрямь за границу. Я получала целые хартии с длинным списком обвинений – ваша Церковь красная, она экуменическая, она безблагодатная и т. д. и т. д.

– Да как же безблагодатная, если благодать такая, что ее можно руками потрогать!

«Отходи от них, они слишком далеко зашли», – услышала я в конце концов от моего старца, и наши теперь редкие беседы с ними старательно обходили это минное поле. Тематика наших разговоров больше не поднималась на уровень обсуждения мировых проблем, и я наконец узнала, почему у них нет детей, – а они ведь совсем не монашеской жизнью жили! Оказывается, отец Х. благословил им детей не иметь по причине неизлечимых хронических болезней – пожалел. Тогда я предложила им поехать со мной к моему Батюшке, а они неожиданно согласились.

– Благословение должно быть на благо. Вы с таким благословением мытарства не пройдете, и тот, кто вас благословил, за решеткой окажется, – услышали они от Батюшки и ушли, возмущенные и обиженные.

А Батюшка мне сказал:

– Напиши мне их имена на маленьком листочке, как книжечку сложи, я буду за них вынимать частицы.

Написала.

– Я же тебе сказал – на маленьком листочке напиши!

Не прошло и года, как у них родился сын.

Через много лет, когда им пришлось пережить немало горя, нищету и болезни на чужбине и череду лишений и страданий на родине, они сказали мне, что единственная радость в потоке непрестанных бедствий их жизни – это сын, подаренный им тогда Богом по молитвам нашего Батюшки.

«Многие считают, – сказал мне как-то Батюшкин келейник, – что старец наш жестко поступает, а он думает не о мирском, человеческом, а о том, что душу ждет впереди». А вот и нет, не только. И о мирском и человеческом, о нашей жизни здесь, на земле, заботился, да еще как! Он все нам вымолил, выстроил всем нам всю нашу жизнь. Даже удивлялся:

– Что же Вы Господа не хвалите! Слава Тебе, Господи, за воздух, за солнце, за свет, за скорби и радости! За все!

Он сам жил в великой благодарности Господу, и в море человеческих скорбей, которые захлестывали его с утра до вечера, умел хранить радость и веселие Духа. Была огромная всепокрывающая материнская любовь, не было такого греха, который заставил бы Батюшку отвернуться от человека, он так и говорил:

– У меня медицинский подход...

Бывает, священники, особенно молодые, не хотят выслушивать грубые, постыдные вещи: «Говорите в общем. Мне это слушать бесполезно». И уходят люди неисповеданными, идут причащаться, может, и в осуждение. А Батюшке полезно? Только он не о себе думал, а о наших перепачканных непохвальной, как он говорил, жизнью душах. Он себя совсем не жалел.

«Как я любил раньше заплывать в море далеко-далеко: море, небо – и никого. А теперь вот весь день возишься тут с вами».

Батюшка каждого человека, с которым сталкивался по жизни, хотел спасти, дух апостольства, которым он был щедро наделен, изливался на всех, кто оказывался рядом с ним, на их родных, на их врачей, учителей, друзей и врагов...

Вот приехала я к нему с утра пораньше с Михаилом, нашим другом и помощником, руководителем большой строительной организации. Не успел тот еще ничего сказать, как услышал: «Где живет твой отец?» И Батюшка отправил его в Кимры: «Езжай за ним и вези его сюда. Сегодня же». Михаил успел в тот день привезти к Батюшке своего отца, Константина. Батюшка еще с ним долго разговаривал за закрытой дверью. Отец причастился потом, впервые в жизни, и вскоре умер.

Еще раз приехали с ним к Батюшке. Михаил ему о своих личных проблемах – а Батюшка как не слышит и в ответ совсем о другом, говорит ему что-то совсем профессиональное, стро-

ительное, о крышах и фундаментах, о взаимоотношениях с кредиторами. Михаил в недоумении вернулся домой, а когда на другой день приехал на совещание в область, стало ясно, что на все каверзные вопросы, которые для него там приготовили, Батюшка вчера дал ему ответы. Тогда он и сказал: «Я все думал: как это у вас получается, повсюду кризис, нигде ничего, а вы строите и строите. Теперь я понял, кто за вами стоит».

Мы иногда, буквально раздавленные скорбями, приползли к нему полуживые, и достаточно было просто постоять рядом с ним, даже за дверью его кельи, и куда что девалось: выходили обновленные, окрыленные, – но надолго ли хватало? Как-то он мне сказал:

– Станция дает ток, а сколько доходит до лампочки...

Вот стоим мы у него на лесенке, три игумении, с утра пораньше со своими скорбями и неподъемными, как нам кажется, вопросами, а Батюшка, проходя мимо нас к себе в келью: «Да, биополе...»

И он терпеливо, год за годом, возился с нами, осторожно исправляя наши очевидные для него немощи, бережно и трепетно держа в руках каждую душу, врученную ему Богом. Ни разу не было такого, чтобы я услышала от него обидное, жесткое обличительное слово, которое не смогла бы понести, потому что его любовь ко мне и моя к нему все покрывала, и как от родной матери принималось все, что он говорил, как наставлял.

«Хирургия. Иногда без анестезии» – так часто сравнивают Батюшкин способ спасать души с «терапевтической практикой» архимандрита Кирилла. Меня всегда смущает это противопоставление. Это же неправда, что-то не заметила я этого за тридцать семь лет жизни под теплым Батюшкиным крылом. Просто у каждого свои дети.

«Меня на всех вас хватит», – как-то сказал Батюшка моим друзьям.

Вот его могилка, в самом центре Лавры, – теперь пожалуйста, без очереди. И мы знаем, что он всех нас слышит. «На всех хватит» – значит, все главное нам уже сказано и оставлено на страницах его книг, в сердцах, в памяти, а все остальное теперь как получится. Как-нибудь, наверное, все-таки получится, за его святые молитвы.

Библейская тема

Батюшка все хотел, чтобы я выучила иврит и занялась библейскими переводами: «Как это ты не знаешь своего языка? Почему ты не любишь свой народ?» А у меня действительно нет той особой привязанности к еврейскому народу, какая часто у евреев бывает. Эта тема закончилась на моей бабушке. Но и она вполне сознательно крестилась в восемьдесят восемь лет. А родители мои обычные советские люди. Отец прошел всю войну, потом стал военным инженером. Мама была всегда с ним рядом. Когда ей присылали приглашения в Израиль, она их рвала на мелкие кусочки и спускала в унитаз, при этом напевая: «Не нужен мне берег турецкий, чужая земля не нужна».

Я давно уже не идентифицировала себя с еврейским народом, меня от этого в два счета отучил отец Валентин Гуревич, когда еще был просто Вале́й Гуревичем, нашим приятелем. Я ему как-то пожаловалась, что мне не нравится, когда рассказывают еврейские анекдоты.

– А когда про чукчей рассказывают?

– Это мне все равно.

– Ну вот и смотри. Это в тебе говорит национальная гордость. Не все ли равно, от какой гордости застрять на мытарствах – от общечеловеческой или от национальной?

А тут как ни приеду к Батюшке, он мне все напоминает, что у меня есть обязанности по отношению к своему народу:

– Я, – говорит, – так за еврейский народ молюсь: «Сними, Господи, покрывало с народа израильского, чтобы они уверовали пророкам своим и испросили у Бога пакибытия. Да будет едино стадо и Един Пастырь».

Батюшка не раз мне говорил, что надо евреям объяснить: их летоисчисление неправильное, и тогда они – те из них, кто верует во Единого Бога, – примут Христа. Берем даты жизни Патриархов в Септуагинте, или в славянской Библии Кирилла и Мефодия, которая и есть перевод на славянский Септуагинты, и сравним с датами жизни Патриархов в Библии Синодального перевода, который сделан с еврейского текста, специально испорченного масоретами. Летоисчисление образуется из суммированных лет патриархов, от рождения отца до рождения сына и т. д. Там убавлено лет сто, тут убавлено. И получается, что Данииловы седмины заканчиваются к Рождеству Христову только в славянской Библии, и если считать по Синодальному переводу, испорченному масоретами, то Христос к тому времени еще не пришел, еще 1747 лет надо было ждать. Эти испорченные, фальшивые даты и в еврейской Библии. Вот они и ждут Мессию. Ждут и ждут. А если правильно посчитают, разберутся... А ведь как все просто – в Кумранских рукописях, которые еще до Рождества Христова были спрятаны в пещерах на берегу Мертвого моря, датировка лет жизни патриархов совпадает с текстом Септуагинты и, следовательно, славянской Библии. Надо сделать новый, исправленный перевод Ветхого Завета, издать его, перевести на еврейский язык, а эти все синодальные переводы сжечь.

«Читайте Библию на славянском языке», – постоянно он нам всем говорил. И терпел много лет, пока мы раскачаемся и начнем шевелиться. С горем пополам сделан правильный перевод на древнееврейский только первой книги Бытия. И все пока.

У Батюшки были энциклопедические знания и феноменальная память. Он помнил все, чему когда-то учился. Мог рассказать и принцип работы двигателя внутреннего сгорания, и законы электродинамики. И ход Бородинского сражения в деталях. И подробности событий Октябрьского переворота и всего, что ему предшествовало, и Великой Отечественной войны... Батюшка жил в глубочайшем контексте исторических, философских, богословских, политических, вообще любых знаний. Он с каждым человеком мог говорить на его языке, на уровне образования и интеллекта собеседника. Это было что-то потрясающее, невозможное. Батюшка часто в своих проповедях говорил о том, что у святых людей появляется шестое чувство, кото-

рое им заменяет наши пять. А ведь он сам как раз и был человеком, который этим шестым чувством давно обладал. И смиренно терпел десятилетиями нашу дебелисть, иногда то ли огорченно, то ли в шутку говоря: «Когда же вы, наконец, станете как ангелы...»

«Мы должны всех принимать, – говорил он, – от дворника до генерала. Как в магазине – каждому отпустить по потребности, кому картошку, кому морковку».

Однажды я пришла к нему, а он мне показывает огромный кусок, оторванный от обоев, весь исписанный его рукой.

«Вот, ночью не нашел бумаги, пришлось обои оторвать. Написал статью “Единство и борьба противоположностей”. Возьми прочитай. Это называется воцерковление философии. Думаешь, очень интересно этим заниматься? Василию Великому тоже не очень интересно было философией заниматься. Но это было тогда нужно. Вот и сейчас это нужно. Надо все воцерковлять – науку, философию, литературу».

Я думаю, что Батюшке Матерь Божия говорила, чем заниматься. И святитель Николай, его любимый.

«Надо внимательно прислушиваться, голос Ангела Хранителя кроткий, тихий, один раз скажет, и все. А лукавый – долбит и долбит».

«А ведь можно молиться, чтобы Господь повысил в чине твоего Ангела Хранителя, прибавил ему ведения».

«Как ты думаешь, а если бы вот взяли бы все и помолились, чтобы Иоанн Креститель попросил Христа вывести опять всех людей из ада...»

Это какая же боль была за весь мир...

«Вот смотри, уничтожается экономическая, продовольственная безопасность нашей страны, нас поставят в зависимость от других государств, а потом они будут нам диктовать свои условия, предъявлять ультиматумы, а если мы откажемся, народу придется пострадать от голода. Тогда начнут искать виноватых – тех, кто не соглашается принять эти условия против своей совести».

«Конец приближается как лавина, и его уже ничем не остановить».

Одно время он очень интересовался событиями войны 1812 года. Любил и почитал Михаила Илларионовича Кутузова, прославлял его мудрость и патриотизм. Отправлял нас на его могилу тогда еще в музей атеизма – Казанский собор. «Вот, – говорил, – когда было отступление нашей армии и Кутузов вел войска от Смоленска, всего в нескольких верстах от дороги жила его мама. А он прошел мимо, спасая армию, и Господь сохранил его маму за его подвиг».

В последние годы Батюшка занялся историей Великой Отечественной войны, особенно он полюбил полководца Василевского.

А за маршала Жукова он одно время даже перестал молиться: «Как же так, он не жалел людей, вел на минные поля».

Потом его простил.

Мне кажется, Батюшка в ином временном пространстве жил, они все, эти люди, для него были живые. Он и молился за них, как будто они рядом с ним стояли. И видел все события, словно был их участником. У него свои отношения были и со временем, и с пространством. Рассказывали, что он шел по дороге как будто обычным шагом, а его невозможно было догнать. Однажды, еще в восьмидесятые годы, я пришла к нему рано утром, а он отправил меня пешком в Богородское и обратно, не помню уже, с каким послушанием: «Успеешь к концу приема вернуться». Я еле дошла, почти бежала туда и обратно часов пять, такая даль, больше двадцати километров. Едва успела его еще застать, а он с упреком: «Ну что же ты так долго, я вчера за два часа обернулся». Это как? У меня потом ноги несколько дней болели.

Скорость его мышления была, для меня во всяком случае, недостижима и непостижима. Я видела, как ему тяжело, что нет равного собеседника. Вот и приходилось возиться с нами, как с малыми детьми. Это как взрослые читают детям книжки в детском переложении, а те все равно почти ничего не понимают. Иногда по три раза терпеливо повторял, а я не могла понять глубины его мысли. Ни знаний не хватало, ни сообразительности, чтобы вникнуть вполне. Иногда что-то понималось потом, если запомнишь или успеешь записать. О том, чтобы пользоваться диктофоном, нельзя было и подумать.

Батюшка духом сквозь века прозревал действие Промысла Божия в истории человечества, проникал в самую суть исторических процессов и вымаливал у Пресвятой Богородицы мирного неба над нашими головами, когда, казалось бы, наказание нам за греховную, безумную жизнь было неизбежно.

ОПТИНСКИЙ КОЛОКОЛ

1

Отец Алексей Царенков принес мне на именины «царский подарок», как называли эту книгу мои друзья, – «Оптина пустынь и ее время» Концевича. Вот она тогда и приоткрыла нам дверь в ушедший мир Оптиной. Кое-что рассказывал мне и отец Моисей, который когда-то водил экскурсии по Оптиной и Тарусе и в результате оказался у отца Алексея в селе Сербилowo Ивановской губернии в качестве классического послушника.

«Катя, Вы непременно должны поехать в Калугу и найти Марию Семеновну Добромыслову, – сказал мне как-то отец Алексей. – Это последние осколки старой интеллигенции, таких людей уже почти нет, Вам надо успеть ее застать». Батюшка мой архимандрит Наум благословил обязательно навестить по дороге в Нижних Прысках отца Леонтия – «хранителя Оптиной».

Олю Зотову, с которой мы пели тогда на Новослободской у Пимена Великого на левом клиросе, долго уговаривать не пришлось, мы взяли с собой какую-то еду – бутерброды, консервы для Марии Семеновны (время было голодное – 1984 год), и уже вечером матушка отца Леонтия, в своем гостеприимном доме на берегу знаменитой Жиздры, напротив Оптиной, укладывала нас на ночлег. Чтобы не обижать хозяев стелить нам постели, мы решили по-подвижнически улечься спать в чем придется, и сразу услышали: «Девочки, мне легче стирать пододеяльники, чем одеяла». Утром батюшка поднял нас ни свет ни заря (он торопился в Козельск) и сразу усадил завтракать. Мои детские объяснения, что я не прочитала утренние молитвы, его не заинтересовали, и я даже не успела ничего «благочестивого» произнести, пришлось есть и молиться на ходу, и вот мы уже с ним в Козельске: «Обязательно найдите в скиту Александру, она вам все покажет и расскажет». И мы пошли пешком в Оптину.

Разрушенные храмы, ни ограды, ни колокольни, склепы все сметены, мусор, железки повсюду – там еще недавно было СПТУ. Дошли до скита – в скиту жили мирские люди, какие-то дядьки ходили в майках, висело белье на веревках. Мы почему-то не стали искать Александру – потом найдем, вернулись в монастырь и сразу увидели могилу старца Амвросия, как нам и описал ее отец Леонтий: на земле из бетона аккуратно очерчен прямоугольник, как будто бетон выливали из ведра, такой же крест – бетоном из ведра – посередине. Мы положили возле этого креста свою нехитрую еду, спели панихиду, сели недалеко от могилки на траву, сидим и едим бутерброды. И тут появляется Александра, мы как-то сразу поняли, что это она. «А знаете, девочки, место, на котором вы сидите, это могила старца Льва». Оля заплакала, а я молча этот позор пережила – меня в таких случаях уже тогда выручала спасительная мысль из «Невидимой брани» о том, что не стоит очень уж расстраиваться, если сделаешь какую-нибудь очередную гадость, потому что: «Господи, чего же мне еще от себя было ожидать!» И мы пошли в сторону Казанской церкви уже троим, очень хотелось посмотреть, что там в храме. Дверь была заперта, Ольга ухватилась за подоконник и заглянула в окно, пока мы с Александрой ее поддерживали: «Там косилки, трактора!»

И тут я услышала удар колокола. «Ой, колокол!» – воскликнула Ольга. И Александра тоже его услышала. Звук был очень мощный, густой – то ли колокол гудит, то ли ангелы поют. Потом был еще один удар колокола, под облаками, и – третий удар, еще выше, где-то совсем в небесах.

Батюшка наш отец Наум на это потом сказал:

– Вам было показано, что благодать от Оптиной не отошла. Возьмите жизнеописание малого святого – он два-три чуда совершит, и вот пожалуйста, его житие. А оптинские старцы – сколько они таких чудес в день совершали!

Александра привела нас к источнику преподобного Пафнутия Боровского, рассказала, что его часто видят здесь, как он ходит по водам в белых одеждах. В тот день как раз была его память – 14 мая, и я очень радовалась, что святые калужской земли сопровождают нас в этой поездке.

Прощались с Александрой – хранительницей Оптинского скита; Оля уехала в Москву, а я отправилась искать Марию Семеновну.

В маленькой однокомнатной квартирке в более чем скромной обстановке она сидела на железной кровати под ковриком с оленями и внимательно смотрела на меня – аккуратная худенькая старушка в шерстяном темном сарафане и старомодной блузке, седые волосы собраны в пучок. Я представилась, передала поклон от отца Алексея и выгрузила на стол банки сгущенки и рыбные консервы с пряниками. И вдруг услышала:

– Позвольте Вас спросить, а что у Вас с носом? В мои времена ни одна уважающая себя девица не позволила бы себе ходить с таким носом.

Она обличила мое любопытство, а я тогда только и поняла, что длинный мой нос, как обычно, сторел на солнце, пошла на кухню, покопалась в сумке, нашла пудреницу, которую мама предусмотрительно мне положила, привела себя в порядок. Мария Семеновна улыбнулась и сказала:

– Ну что ж, теперь будем разговаривать. И она заговорила о себе – а мне было так интересно! – что отец ее, Симеон, был священником в Белёве, маму звали Зинаида, воспитывала ее бабушка, которая жила в Козельске, «и она часто водила меня в Оптину. Бабушка была нетороплива в походке и неспешна в движениях, и мы обыкновенно приходили в Оптину к самому концу службы». Девочка никогда не возвращалась из Оптиной без цветов – скит был весь в цветах, и монахи обязательно дарили девочке на дорогу букет, протягивали его через калитку. В монастыре при входе в храм стоял большой стол, на столе – жбан с квасом и «обливная кружка на цепочке» для богомольцев. И лежал нарезанный большими ломтями оптинский хлеб.

– А какой там был колокол!

– А ведь я сегодня слышала этот колокол, – и рассказала ей, как все было.

Она говорила прекрасным, каким-то дореволюционным языком, такой речи сейчас уже почти нигде не услышишь. Я почему-то спросила ее: «А есть ли у Вас четки?» Она достала их из-под подушки и показала мне – когда-то черные, они были истерты добела, и вдруг – неожиданно: «Это что! Это барахло! Вот раньше в Оптиной монахи плели – шерстяные – и продавали, это были четки!»

На стене у матушки висело много икон, я обратила внимание на маленькую икону великомученицы Варвары на жести и фотографию какого-то монаха в черной картонной рамочке и спросила, кто это.

– Это мой духовный отец, иеромонах Никон, последний духовник Оптиной пустыни.

Еще совсем юной девушкой, вместе с подругами, для смелости, Мария Семеновна оказалась на приеме у старца Нектария, он посоветовал ей учиться живописи – так она и стала ученицей Льва Бруни, который тогда жил в Оптиной.

Старец Нектарий потом передал Марию Семеновну под духовное руководство отцу Никону и благословил ее маленькой иконой на жести великомученицы Варвары. «У всех в дортуарах висели иконы Спасителя или Божией Матери, а у меня над головой всегда была эта икона великомученицы Варвары». Потом она училась во ВХУТЕМАСе. На дорогах войны икона, подаренная старцем, затерялась, она долго горевала, и однажды, в заброшенной церкви, вдруг увидела точно такую же и поняла, что Бог вернул ей ее сокровище. С тех пор матушка с этой иконой больше не расставалась.

Еще на стене было много акварелей – матушка любила писать оптинский лес, и висела фотография с ее портретами оптинских старцев – оригиналы она отдала в Лавру, в Академию,

а эта фотография – портреты старцев на черном фоне – потом разошлась по всей России. Матушка открыла шкаф и достала большой белый плат, обшитый красной каймой:

– Я расстилаю его, когда приходит священник меня причащать.

Когда разогнали Оптиную пустынь, она зашла в оскверненный храм, увидела на полу сорванную завесу с Царских врат и оторвала от нее ленту. Этой лентой и был обшит плат. Еще она особо почитала преподобного Тихона Калужского, икона которого «возле древа с дуплом» висела у нее на стене рядом с великомученицей Варварой. Я достала маленькую записную книжку, и матушка стала рисовать в ней план Оптиной пустыни, где какие церкви стояли, где какие могилы были. После разгона Оптиной она работала вместе с Надеждой Александровной Павлович в оптинском музее, а когда и музей закрыли, устроилась санитаркой на санэпидем-станцию, там и трудилась всю жизнь, тихо и незаметно, и пела на клиросе в храме.

– Человеку надо следить за своими делами и словами, но этого недостаточно. Нужно наблюдать еще за своими чувствами и мыслями. В миру это невозможно. Поэтому раньше люди уходили в пустыни и становились отшельниками.

Она и была этим отшельником среди большого города, только я тогда не понимала, что она говорила о себе.

Прошел год, я все собиралась еще приехать к Марии Семеновне, да как-то не получалось, и тут появилась Ниночка Моисеева и сказала, что Марью Семеновну парализовало, и она лежит одна на газетах в пустой квартире. Мы сразу поехали к Батюшке, и он благословил организовать уход за ней:

– Записывайте каждое слово, которое произносит это сокровище.

Но было поздно. Мария Семеновна уже наполовину жила в ином мире. Она сопротивлялась, но мы поменяли газеты на простыни, и она все-таки позволила нам ухаживать за ней. И еще шутила:

– Вот лежит девушка, 1900 года рождения. А вон муха летит, молодая муха!

Когда я приехала к ней, уже больной, в запущенную квартиру, зашла в ванную и собралась было ее отмыть, вдруг услышала внутри себя: «Ты занимаешься тем, что ей уже не понадобится».

За месяц до ее кончины как-то выяснилось, что она тайная монахиня, с 1930 года. Постригал ее епископ Павлин, келейник отца Иоанна Кронштадтского. Ее ближайшая подруга узнала о том, что она монахиня Мария, только после ее смерти, когда достали приготовленную на смерть одежду, а в свертке оказалось монашеское облачение.

Мы ездили к ней на электричке, меняясь через сутки. Когда стали уставать, попросили мою подругу Людмилу приехать помочь. Людмила, которую Мария Семеновна никогда раньше не видела, зашла в комнату и сразу услышала: «Ну как там твоя Елизавета?» Елизаветой звали маленькую Людочкину дочь.

Приезжал отец Серафим, соборовал ее и причащал.

За день до ее кончины – а умерла она на Боголюбивую, 1 июля 1985 года, – мне довелось возле нее дежурить, я лежала у нее в комнате на раскладушке и не могла заснуть и оказалась свидетелем того, о чем пишет святой Иоанн Лествичник: «Видел я однажды дело великое и ужасное, как один брат при жизни проходил через мытарства». Я слышала, как она вела разговор с духами вслух, они, наверное, что-то говорили ей, в чем-то обвиняли, а она только отвечала: «Нет, врете, не было этого». Или: «Да, было, прости меня, Господи! А это врете, не было такого!» И даже гневно постукивала рукой по одеялу.

Договориться об отпевании по монашескому чину не удалось. Матушку похоронили, и когда мы приехали к ней на сороковой день, в доме собрались родственники и знакомые, они как-то мирно поделили практически отсутствующее имущество, иконы почти все разобрали, старые вещи оказались выброшенными на помойку, все уже всё взяли, кто что хотел, на стене остался только портрет отца Никона в черной рамочке, маленькая икона великомученицы Вар-

вары и преподобный Тихон Калужский. Я спросила: «Если никому не нужно, могу ли я взять это себе?» Никому уже ничего не было нужно, никто не знал, чей это портрет и что это за икона. Еще мне дали две акварели с оптинским лесом. Спросила у родных, не видали ли они среди вещей Марии Семеновны белого плат с красной каймой? Плат тут же нашелся и тоже – как никому не нужный – оказался у меня. А потом родственники достали завещание Марии Семеновны: все, что было там записано, они исполнили. Осталось единственное распоряжение – лично в руки отцу Алексею передать ее мемуары. Отец Алексей приехать не смог – он тогда болел, и меня попросили взять рукопись и отвезти ему. А я отказалась, по своей дурной литературной щепетильности, – как это я могу взять рукопись, если сказано «лично в руки», а вдруг что-нибудь случится, и я ее потеряю по дороге, например засну в электричке и у меня украдут сумку, – такое пару раз бывало с моей сестрой. Нет-нет, батюшка приедет через несколько дней и сам ее заберет.

Батюшка приехал через несколько дней, мы приехали вместе. «Рукопись у отца Серафима», – сказали нам.

«Приезжайте через месяц, ее сейчас читают», – услышали мы от отца Серафима и отправились на кладбище на могилу к матушке служить панихиду. Через месяц рукопись опять кто-то читал, мы отслужили еще одну панихиду на кладбище, и когда еще через месяц рукопись так и не вернули, стало ясно, что нам ее не видать. «Значит, я недостойн», – тихо сказал батюшка, а о моих переживаниях нечего и говорить.

«Устройте где-нибудь уголок Оптиной Пустыни», – благословил нас тогда отец Наум. Мы посоветовались, и все решили, что оптинский уголок будет у меня дома. И несколько лет эти святыни хранились у меня, пока не открылся Даниловский монастырь и меня не попросили передать в монастырский музей акварели матушки и драгоценный плат, что я и сделала, к сожалению, не спросив благословения у своего старца. Икону великомученицы Варвары я отдала в утешение отцу Алексею – у него тогда умирал брат, Анатолий, который никогда не причащался. Это был прекрасный человек, чистой жизни, редких душевных качеств, но Церковь он не принимал: «Неужели я так плохо живу, что мне надо и в церковь ходить?» Так он тогда рассуждал. Перед смертью он примирился с Церковью и причастился. У меня сохранился только портрет отца Никона – с ним я не смогла расстаться, фотографии портретов оптинских старцев и уголок Оптиной пустыни в моем сердце.

Через семь лет, 1 июля 1992 года, именно в день кончины Марии Семеновны, на Орше была первая Литургия. Во время Евхаристического канона видели, как в Чашу спустилось пламя – огненный язык с неба.

Кажется, незадолго до матушкиной кончины отец Алексей принес мне тетрадку, испи-санную его неразборчивым почерком, и попросил ее прочитать, подредактировать и перепечатать. Это был записанный им десять лет тому назад в Гомеле рассказ оптинской послушницы Ирины Бобковой, впоследствии схимонахини Серафимы, о последних днях иеромонаха Никона, духовной дочерью которого она тоже была. Я потихоньку расшифровывала тетрадку и время от времени лениво печатала по одной-две странице. Наверное, прошло года два. Как-то я приехала к своему старцу, и он встретил меня совсем не радостно:

– У тебя совесть есть? Сколько ты можешь тянуть резину? Два года тянешь время, мать Серафима скоро умрет и не увидит своих воспоминаний! Немедленно заканчивай эту работу и отправляй в Гомель!

Тут надо сказать, что я никогда не говорила отцу Науму о том, что занимаюсь этим делом.

Думаю, по его святым молитвам, я накануне познакомилась с Женей Лукьяновым (Царствие ему Небесное!), и он как раз собирался завтра ехать в Гомель к матушке Серафиме. Женя работал тогда в университете на кафедре экспериментальной физики. В огромной пустой аудитории он демонстрировал нам какие-то опыты: на высоком столе что-то угрожающе сверкало, трещало, крутилось, а он радовался как ребенок.

Тогда он и рассказал, как много лет назад он с университетской командой оказался в Пицунде на чемпионате по шахматам, и там под вечер, когда все забрались в воду, он заплыл слишком далеко, и его унесло в открытое море. «Плыву, – говорит, – и плыву, стало совсем темно, может, уже к Турции подплываю. Уже давно выбился из сил, рассчитывать не на что. Смотрю – появляется вдалеке пограничный катер, освещает меня прожектором, светит да рассматривает меня, нет чтобы помочь».

Долго так он плыл в этом луче, и когда уже совсем потерял надежду на спасение, вдруг какая-то сила приподняла его и перенесла в теплое течение, которое и прибило его к берегу. Когда ноги его коснулись дна, он уже почти терял сознание, выкарабкался на берег и упал. Пришел в себя в каком-то домике – его нашли пограничники, натянули на него, замерзшего, телогрейку, уложили в кровать. Стали расспрашивать, кто он и откуда. Сказал, что вчера был в Пицунде на соревнованиях, – ему не поверили: «Не может быть, – говорят, – слишком далеко. Признавайся, ты шпион, наверное». Потом как-то связались с университетскими – удивились и отправили его к своим.

А в это время родителям уже сообщили, что сын утонул. Когда Женя вернулся домой, отец его – профессор физики – показал ему газетную вырезку: какой-то спортсмен установил мировой рекорд по плаванию, переплыв, кажется, Ла-Манш. Расстояние, которое пришлось проплыть Жене, было больше. Отец после этого крестился, а Жене еще несколько лет понадобилось, чтобы принять Православие. Вскоре он одним из первых поступил в Оптину пустынь. Житие отца Никона определило всю его дальнейшую жизнь, он стал его биографом, но, к сожалению, не учеником. Когда ему предложили постриг, он потребовал, чтобы его назвали только Никоном, и постриг отложили, а потом Женя ушел из монастыря, работал в Москве в книжном издательстве и умер, так и не приняв пострижения.

Мы договорились тогда, что я постараюсь быстро все закончить и с ним передать в Гомель. Оставалось несколько страниц, я пришла вечером на свою сторожевую работу, села за пишущую машинку и очень надеялась, что не будет на этот раз никаких гостей и никто мне не помешает, – а эта сторожевая работа по молитвам Батюшки была местом, куда по вечерам приходили мои знакомые, приводили своих знакомых, и там были сплошные «огласительные беседы». И действительно, в этот день, на удивление, никто ко мне не пришел. И я уже печатала последнюю страницу, как появился единственный в тот вечер гость – мой крестник Алексей с мешком пряников, как обычно.

– А кого сегодня кормить?

– Сегодня, слава Богу, некого.

– А что ты печатаешь?

– Это последняя страница воспоминаний о последнем духовнике Оптиной пустыни иеромонахе Никоне.

– Удивительно. Я только что от своих друзей и видел у них целую книгу воспоминаний именно о нем.

– Этого не может быть! Все, что о нем известно, здесь, на этих страницах.

– Да точно, большая книга.

– Езжай сейчас же к ним и вези ее сюда.

– Они не дадут. Это «тамиздат».

– Дадут, – твердо сказала я ему, неожиданно для самой себя.

И через два часа книга была у меня в руках. Односторонний ксерокс, со сложенными вдвое страницами, в самодельном переплете. Действительно, жизнеописание последнего духовника Оптиной пустыни иеромонаха Никона. «Рукопись недавно попала к нам из России, – прочитала я в предисловии. – Это один из последних образцов советского самиздата. Автор неизвестен». Открываю книгу – да это же ее стиль, ее неповторимая речь. Не может

быть! На последней странице инициалы неизвестного автора – М. Д. Все понятно – Мария Добромыслова.

Прошло два года, и потерянные мемуары пришли не раньше и не позже, а точно в тот день, когда я допечатала последнюю страницу воспоминаний об отце Никоне схимонахини Серафимы Бобковой! Так святые наблюдают оттуда за нашими делами и невидимо управляют ими, только мы это редко понимаем. Наверное, прочитай я тогда, два года тому назад, эти мемуары, не дожидаясь бы мать Серафиме никогда своих воспоминаний, здесь все было гораздо объемней и совершенно в другом ракурсе.

Потом я узнала, что отец Никон никому не благословлял приезжать к нему в Пинегу, когда его отправили в ссылку, где он и умер. И Мария Семеновна не посмела ослушаться своего духовного отца и была по-своему права. А послушница Ирина все-таки поехала к нему через все ужасы лагерных дорог, несмотря на запрет, и тоже была по-своему права. Она скрасила его последние дни, утешила его в скорби и болезни, переселила в человеческие условия, забрала его от грубой хозяйки, где он лежал больной на табуретках весь во вшах, организовала отпевание и похороны. А Мария Семеновна в своих воспоминаниях дала понять, что многие духовные чада батюшки, и она в том числе, считали, что приезд к нему послушницы Ирины без благословения нарушил его молитвенное уединение и принес ему перед смертью лишнее беспокойство и суету.

У каждой была своя правда, и Мария Семеновна, конечно, не хотела, чтобы ее воспоминания когда-нибудь попали в руки мать Серафиме – той самой послушнице Ирине, чтобы ее не огорчать, вот и не показывала их никому. Может, еще и просто по своему смирению. А ведь кроме отца Алексея, которому она завещала их передать, никто не смог бы разобраться в этой истории – воспоминаний матушки Серафимы, кроме него, никто не слышал.

Через два года еще несколько человек оказались в курсе дела: я, наконец, перепечатала батюшкину тетрадку, отправила рукопись в печатном виде в Гомель и попросила Женю, чтобы книга Марии Семеновны не попала никоим образом в руки к матери Серафиме. Рукопись схимонахини Серафимы передали в оптинскую библиотеку (Женя тогда уже занимался «Оптинской полкой»), а мать Серафима вскоре переехала в Шамордино, ей было тогда уже 104 года. Ну кому там, за границей, где печатали эту книгу, могло прийти в голову, что послушница Ирина еще жива! Теперь воспоминания Марии Семеновны не раз переизданы; найдены и изданы удивительные дневники отца Никона. Его же святыми молитвами, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас.

2

Коломна, 1989 год. На 14 мая назначен монашеский постриг будущей игумении Ксении, и вот накануне, ночью, мне приснился удивительный сон. Как будто мы всем монастырем оказываемся в Оптиной пустыни, а там три гроба с мощами, мы подходим к ним прикладываться по очереди, и я вдруг вижу, что это женские мощи, знаю во сне, что это мощи дивеевских блаженных, подхожу поближе к первому гробу: в гробу лежит живая старица, в телогрейке, без платка, волосы слипшиеся, почти седые, лоб в каплях пота, как будто ей очень жарко, и она смотрит на меня в упор. Тем не менее я прикладываюсь к ней, как к мощам, и она дает мне три совета, как три заповеди: «Следи, чтобы всегда платок на голове был. Повнимательнее с деньгами», – и еще что-то сказала, что я тут же забыла. Как-то все это странно было, но очень значительно. Денег у меня тогда никаких не было, да и до монастыря их никогда не было и не предполагалось, платок я и так с головы даже ночью уже давно не снимала...

Я сразу рассказала свой сон матушке Ксении, а она промолчала, но потом отправила меня в Лавру: «Езжай-ка к старцу, надо бы это проверить». Батюшка выслушал все и сказал:

– У вас там, наверное, большая духовная связь с Оптиной и с Дивеево. Составьте краткие помянники, дивеевский и оптинский, и поминайте их.

Что мы тогда и сделали. А ведь именно в этот день, 14 мая, пять лет тому назад я впервые оказалась в Оптиной пустыни.

Через два-три года я как-то возвращалась в электричке из Лавры с одной своей знакомой, Татьяной (будущей игуменией Спасо-Елиазаровского монастыря Елизаветой), мы заговорили с ней о разных чудесных вещах, и я почему-то вспомнила этот свой сон.

– А как выглядела та старица? В телогрейке, потная, без платка, волосы слипшиеся, почти седые? Так это же блаженная Анна Дивеевская. Я у нее много раз была. Она ходила в телогрейке зимой и летом, без платка, идет вот так по полю и матом ругается. Ей говорят: «Ну зачем ты так?» А она отвечает: «Хорошо им было при царе блажить, а ты попробуй при большевиках поблажи!» Она умерла в Дивеево именно в этот день – 14 мая 1984 года.

Так вот по ком звонил колокол, который мы в тот день слышали в Оптиной!

Прошло еще какое-то время, и я, кажется, поняла, что означали странные благословения блаженной Анны. Дело в том, что Батюшка мой, когда я жила еще в миру, несколько раз отправлял меня в Дивеево к блаженной Анне. А я так и не попала к ней.

В Посаде, на Пархоменко, жила схимонахиня Никодима, одна из последних дивеевских сестер, ей было 13 лет, когда закрыли монастырь. Матушка рассказывала, что ей приходилось там по ночам работать на мельнице; было страшно, и преподобный Серафим сам приходил к ней и помогал крутить жернова. Он являлся ей семь раз. За матушкой Никодимой как раз и ухаживала тогда та самая моя знакомая, Татьяна, которой я рассказала в электричке свой сон.

Я в то время почти всегда от Батюшки шла к мать Никодиме, вот и получилось, что по своей духовной неопытности рассказала ей о благословении старца ехать к блаженной Анне и услышала от нее: «Подожди, не езжай одна – закрытая зона, опасно, ты ничего там не знаешь. Вот Татьяна там бывает, она скоро поедет и тебя проведет». Батюшка второй раз благословил меня в Дивеево, к блаженной Анне, и снова я не поехала, услышав тот же совет мать Никодимы. А Татьяна все не ехала и не ехала в Дивеево.

– Ну что, так ты и не съездила? Значит, не обязательно, отменяется.

Как же я горевала тогда, ведь наверняка что-то очень важное нужно было мне там услышать, и никогда теперь мне не узнать, что же должна была мне сказать блаженная старица! И вот теперь все связалось воедино, и я вспомнила рассказ одной моей знакомой, Галины, которая уехала в Америку, порушив все в своей жизни, и вернулась в Москву через три месяца: «Там такой слой материальной культуры, что через него к Богу не пробьешься. Свою трагедию я буду доживать здесь». – «Мама, куда ты нас привезла!» – плакали дети, которых она восемь лет готовила к отъезду, а теперь вернула в Москву.

Батюшка, давным-давно, отправлял ее к блаженной Анне, и она, в отличие от меня, у нее побывала. Она нашла ее в поле, среди полевых цветов. Старица дала ей тряпичную куклу и велела передать отцу Науму. Галина даже показала мне тогда эту куклу, достала из шкафа, почему-то она осталась у нее. Старая тряпичная кукла с непокрытой, совершенно лысой головой. А второй Галине (их тогда Батюшка отправил в Дивеево вдвоем) матушка тоже дала тряпичную куклу. Та была в платке. Вторая кукла оказалась у Батюшки. И вторая Галина – Галина Кухтенкова – осталась у Батюшки навсегда, до самой своей смерти. А первая все-таки уехала снова за границу.

Так вот, оказывается, когда Батюшка посылал кого-нибудь из своих духовных чад к блаженной Анне, они привозили ему от нее кукол, и если кукла была в платке, значит воля Божия девице быть монахиней, а если без платка – значит не быть. Так вот что означало первое благословение из того гроба в Оптиной: «Следи, чтобы всегда платок на голове был», – матушка ответила мне на вопрос старца уже после своей смерти. А Батюшка, наверное, и сам все про меня понял, когда сказал, что ехать в Дивеево уже необязательно. А как же второе благослове-

ние насчет денег, которых у меня не было? Это тогда не было, а сейчас, на игуменском послушании, действительно нужно быть очень внимательной, чтобы ничего не потратить зря, не ошибиться. Деньги все Божии, за каждую копейку придется ответ давать, Господи помилуй! Это при моей-то неспособности четко вести дела! Жаль только, что я так и не могу вспомнить, что же еще сказала мне тогда старица, какая же это была третья заповедь.

А может быть, блаженная Анна своими тремя заповедями прикровенно говорила о трех монашеских обетах? Платок на голове – конечно, обет целомудрия; осторожность с деньгами – обет нестяжания; значит, дальше, наверное, было сказано о послушании?

Однажды нам пришлось на нашей черной «Волге» – только что из очередного ремонта – ехать на Украину с Владыкой. Мы попытались объяснить, чем все это кончится, но нас все-таки поставили в колонне между двумя новенькими автомобилями, и возле Боровска – преподобный отче Пафнутие, моли Бога о нас! – недалеко от Пафнутьевского монастыря, мы, наконец, встали намертво. Владыке с архимандритом пришлось толкать нашу машину до ремонтной мастерской – благо она оказалась неподалеку, и нас оставили менять кардан – «потом догоните», мы поблагодарили преподобного Пафнутия, но нам все-таки пришлось возвращаться домой: скоро наша «Волга» опять заглохла – запчасти оказались не те. Водитель лежал под машиной, вытянув ноги на Киевское шоссе, а мы стояли рядом и читали акафисты. Было уже совсем темно. И тут возле нас остановилась машина, из нее вышел незнакомый монах – это был тогдашний оптинский эконом отец Досифей: «Садитесь ко мне, сейчас разберемся». Самое интересное, что, оказывается, он только что был в Москве у наших друзей – Бычковых, которые много сделали и для Оптиной, и для нас. Через год, когда в Тверском Екатерининском монастыре начали строить колокольню, первые кирпичи купили на пожертвование из Оптиной пустыни. А синий трактор, который потом подарили нам оптинцы, приехал в наш монастырь на преподобного Серафима Саровского. И самая главная святыня нашего монастыря – чудотворная Федоровская икона Божией Матери – появилась у нас в день прославления Оптинских старцев – 26 июля 1996 года. Как же я расстраивалась тогда – все нормальные люди сейчас в Оптиной, а я не могу поехать, что я делаю в Твери? И тут подъезжает машина:

– Мы решили вам вернуть икону вашего монастыря!

Меня только что, совершенно неожиданно, назначили настоятельницей на Оршу. Батюшка, конечно, был в отпуске – жаловаться некому (ежегодные экзамены – всегда что-нибудь случается, когда его нет, вот и учишь выплывать самостоятельно), и пришлось сквозь слезы принимать послушание. Как же меня утешила тогда эта икона! Несколько месяцев она стояла в моей келье и так благоухала, словно кто-то непрестанно перед ней кадил. Аромат тончайший, удивительно благородный. А вскоре все предметы, которые были на столике перед иконой, стали благоухать, и что интересно – все по-разному, и мой настоятельский крест – он обычно лежал на этом столике – тоже. Когда мне приходилось по делам бывать в епархии, я «забывала» его дома – не будешь ведь каждому объяснять, что это чудо, все равно не поверят, скажут, что она одеколоном крест протирает, французским.

Тем летом, а потом и на следующий год, в один и тот же день – день памяти первоначальницы Александры и отца Василия Садовского, дивеевского духовника XIX века, – к нам на Оршу приезжал отец Андрей, духовник нынешнего Дивеевского монастыря, как будто специально для того, чтобы выбрать и освятить в нашем монастыре место под баню и колодец. А колокола на нашу колокольню через несколько лет поднимали зимой в день памяти преподобного Серафима Саровского.

А все-таки действительно очень похоже, что дивеевские и оптинские подвижники пристально наблюдают за нашей жизнью и потому-то многократно и многообразно напоминают о

себе. Только вместо имен в помянниках – они уже почти все прославлены – у нас теперь их прекрасные лики на иконах и частицы святых мощей.

Сербиловские истории

Семь километров дороги от Гаврилова Посада до Сербилово, бесконечная березовая аллея. Особенно в ноябре, когда ветер пронизывает до костей, тяжеленные сумки в руках, но тогда была молодость, сейчас бы уже навряд ли...

Обычно я ездила в Сербилово одна, а тут на Ярославском вокзале неожиданно встрети-лась с отцом Алексеем. Вечером, когда мы садились в поезд, было еще тепло, и я поехала в худеньком осеннем плаще на рыбьем меху, а утром ударил мороз, и ветер, пронизывающий ноябрьский ветер... Эта бесконечная дорога и надежда только на чудо, чтобы не замерзнуть... Батюшка далеко впереди, я едва успеваю за ним, и вдруг становится тепло и ветра нет, хотя вот они, березы, наотмашь раскачиваются ветром, которого нет. Ничего не понимаю. И вижу: мы идем с отцом Алексеем как бы в желтом яйцевидном облаке, внутри которого тепло и безветренно, а вокруг бушует непогода. «Батюшка, – кричу я ему, – что это?» Он подносит палец к губам: «Тсс-с-с», – и мы молча идем дальше в этом желтом яйце. «Вот, – думаю, – сподоби-лась-то», – и мы уже входим в деревню, как я проваливаюсь в глубокую колею, схваченную по верху тонким первым льдом, в самую грязь. Теплая и тяжелая, только что связанная мамой юбка, вся вымокла в грязи.

«Если была на всю Ивановскую область одна незамерзшая лужа, Катя, то Вы ее нашли. Наверное, помыслы тщеславные приняли. Моисей, придумай что-нибудь, надо выручать чело-века». Моисей тут же торжественно вручил мне синие спортивные штаны с начесом: «Совсем новые, только вчера Батюшка отец Наум подарил». Я кое-как выполоскала свою длинную гряз-ную юбку в холодной воде, повесила на веревку в холодной кухне и подумала, что она не высох-нет никогда. Почему она оказалась сухой и чистой через несколько часов, я не понимаю до сих пор.

Утром проснуться вовремя никто не мог. Моисей уже третьи сутки кряду пытался испечь просфоры, они все не получались, и по вечерам он с длинными четками в руках, шатаясь от усталости, сквозь сон, с закрытыми глазами, мужественно вычитывал пятисотницу; рядом, покачиваясь, – вот-вот упадет на меня – подвизался в молитвенном подвиге отец Алексей, а если я пыталась поддержать его, когда он в буквальном смысле слова валился с ног, тут же слышала: «Не прикасайтесь ко мне! Я celibat!» – и мне ничего не оставалось, как читать пятисотницу полночи вместе с ними. Понятно, что утром было не проснуться, и в храм мы приходили часам к десяти утра, а возвращались домой после Литургии, акафистов, панихиды и молебна только к вечеру, то есть завтракали мы часов в пять-шесть.

Однажды меня это расписание очень выручило. Я ехала к ним на праздник и спросонья перепутала остановку, где нужно было выходить, проводник тоже плохо соображал с утра, и меня высадили на предыдущей, в Осановце. Поезд ушел, и пришлось часа три топтать с полной выкладкой до Гаврилова Посада, а потом еще те же семь километров. Все-таки к началу службы пришла, часам к одиннадцати.

Кашу обычно приходилось варить мне или еще какой-нибудь паломнице, кастрюля была одна, огромная, старая, с облупленной эмалью, и после того, как кашу съедали, ее приходилось отдраивать целый час, чтобы сварить в ней ужин. Это была ежедневная пытка: «Батюшка, а нельзя ли еще одну кастрюлю купить?» На что я сразу услышала дежурное: «У Вас, Катя, нет духа подвижничества».

Ведро тоже было одно. Оно стояло под раковиной, где мы все умывались; мокрое и осклизлое, оно дожидалось моего приезда, когда я, как обычно, получала благословение вымыть полы. Значит, нужно было выдраить это ведро до состояния только что из магазина, полы мылись, и оно снова занимало свое место под раковиной до следующей экзекуции. «Я же

говорю, нет у Вас, Катя, духа подвижничества», – конечно, услышала я в ответ на свою тихую просьбу купить еще одно ведро.

Как-то я приехала или, точнее будет, добралась до них зимой, в январские холода; в доме было мало сказать, что прохладно – на кухне вода замерзала к утру. Печку тогда топили, не закрывая заслонку, – такое решение было принято после того, как отцы, угорев ночью, едва спаслись. Чудом проснулся отец Алексей, растолкал полумертвого Моисея, выволок его на снег. Накануне они были в келье у нашего старца – наверное, его молитвами и остались живы. С тех пор они и решили в любые холода заслонку совсем не закрывать, так что печка работала как буржуйка: пока топишь, тепло, потом еще немножко тепло, а дальше – как есть.

Я все-таки решила поправить положение и пошла в сарай за дровами. Жалкая кучка поленьев валялась около Марсика – там сидела на привязи собака, которую батюшка пристроил у себя, чтобы одна его духовная дочь, сотрудница Пушкинского музея, могла спокойно уехать в отпуск. По утрам мы гуляли с Марсиком возле речки, и он все норовил меня укусить – мне было велено не спускать его с поводка. С отцом Алексеем он вел себя тоже не очень. Они едва терпели друг друга: «Катя, будете у отца Наума, попросите его помолиться, чтобы Господь прибрал Марсика, ну что же он мучается».

– Ну разве можно так молиться? Блажен, иже всякую тварь милует. Надо сделать ему вольер, чтобы ему было удобно, с крышей от снега и дождя, с теплой будкой. Купите доски, рабицу, давай посчитаем, сколько нужно метров.

И дальше народ терпеливо слушал, как архимандрит Наум проектировал и рассчитывал вольер для Марсика.

– Батюшка отец Алексей, а где же дрова? Они есть?!

– Ну да, сложены возле Марсика.

– Так там же на две растопки!

– Бог пошлет, Катя, без паники, надо иметь веру.

Надо сказать, что накануне я устроила ему скандал на предмет этих ночных бдений:

– Неужели нельзя все-таки так организовать день и молитвенное правило, чтобы ложиться спать хотя бы в двенадцать!

– Попробовать можно, но я Вам скажу, Катя, наше от нас не уйдет.

В общем, я побежала в деревню, объявила бабкам, что у них совести нет, и батюшка их любимый через два дня замерзнет насмерть. Они обещали привезти дров, а мы каким-то чудом в этот день закончили молиться к полуночи и только собрались укладываться по своим углам, как раздался стук в окно: «Дрова привезли!»

– Я же говорил вам – Бог пошлет, а вы паникуете.

Разгружали мы их как раз до двух часов, после чего отец Алексей победно произнес:

– Наше от нас не уйдет!

Однажды я приехала к ним в конце августа, и мое место на кухонной печке было занято. То есть занята была вся кухня – там жили осенние деревенские мухи в огромном количестве. Я свернула газету и приготовилась их беспощадно лупить, но тут зашел батюшка и отобрал у меня газету со словами:

– Вечером, Катя, будем служить заклинительный молебен мученику Трифону из Большого Требника, от пружей и гусениц, а пока потерпите. Блажен, иже всякую тварь милует.

Вечер настал по-сербилловски часов в двенадцать ночи. Мы сквозь сон служили бесконечный молебен, в конце которого была длинная необыкновенная молитва, где все Силы Небесные призывались на помощь, никогда таких молитв я раньше не слышала, а когда молебен, наконец, закончился, произошло ужасное – батюшка открыл форточку на кухне, из залитой светом кухни в сербиловскую ночь! И я поняла, что сейчас все остальные мухи, которых тут еще пока нет, прилетят сюда.

И тут у меня на глазах произошло нечто: кухонные мухи собрались в жужжащий черный шар, наподобие пчелиного роя, и этот шар вылетел в открытую форточку, в ночь, на улицу. «Теперь можно спать», – спокойно произнес отец Алексей и ушел в комнату, а я подумала, что, наверное, так всегда и бывает: люди молятся, значит, Бог их обязательно должен услышать. Для меня тогда мир Православия только открывался, все было впервые, и все происходящее воспринималось как должное.

Лет через десять, уже в Твери, мне вспомнилась эта история, когда мы реставрировали Екатерининский храм. Рабочие – Александр с Людмилой – штукатурили и белили церковь по ночам, потому что днем мы там служили. Правда, служили в трапезной части храма, а они работали в четверике, там топилась огромная железная печка и было тепло. Да так тепло, что в конце ноября проснулись и расплодились во множестве мухи и усеяли дочерна весь только что побеленный потолок.

Рабочим пора было снимать леса, чтобы спускаться ниже, а как это можно было сделать, не избавившись от мух?

Они предложили попросту купить аэрозоль, но тут я вспомнила свой сербиловский опыт, рассказала матушке Иулиании эту историю, мы раздобыли Большой Требник, отслужили заклинательный молебен мученику Трифону и стали ждать, когда исчезнут мухи. Прошел день, другой, третий, мухи все на месте, а на четвертый день мы пришли в храм и увидели белый потолок.

Как все произошло на этот раз, рассказала нам изумленная Людмила.

Ждали они с мужем, ждали – мухи не улетают, и решили: «Пусть эти фанатики молятся, а у нас время – деньги», – и Людмила отправилась в магазин за аэрозолем. Купила красный флакон и ночью забралась на леса. Только взяла его в руки, как кнопка, на которую надо нажимать, тут же отвалилась. «Вот, – думает, – как без благословения-то дела делать», – и тут она увидела птичку, невиданную птичку под потолком, не очень-то большая, и такой же у нее, размером с нее, клювик. И птичка эта на глазах у Людмилы, быстро-быстро, как сканер, склевала всех мух на потолке по порядку. И исчезла так же непонятно, как появилась.

Через несколько лет пришлось нам еще раз служить этот же молебен, то ли кроты напали, то ли мыши. И я впервые внимательно выслушала молитву, которую священник в конце молебна всегда читает. А там такие слова: «Заклинаю вас, пружи и гусеницы, именем Пресвятой Троицы, – дальше идет перечисление святых, которые призываются на помощь, и в конце: — ...изыдите из места сего, а аще не послушаете мене, нашлю на вы птицы небесные, да исключют вы». Такая история.

Понимать церковнославянский отец Алексей научил меня за пятнадцать минут. Просто заставил читать Псалтирь на славянском, те псалмы, которые уже были знакомы. Но вот церковный устав мне никак не давался. Мы стояли на клиросе с Моисеем: два взрослых человека с высшим образованием, и ничего не понимали, служили наощупь, батюшке все время приходилось выбегать из алтаря и втолковывать нам наши следующие действия, сколько мы в состоянии были уразуметь. Особенно канон мне был непонятен, просто тайна какая-то, загадочные такие церковные книги.

«Ну что тут сложного, вот стоит рядом с вами Фаина с четырьмя классами образования, и ей не надо ничего объяснять, а вам... все бесполезно. Удивительно!»

Мне и самой было удивительно, но это продолжалось несколько лет, я уже потеряла всякую надежду разобраться в этой премудрости, как однажды, на службе в храме Пимена Великого на Новослободской, в один момент как будто пелена спала с глаз, как шторку спустили, и в уме мгновенно сложилась схема построения службы, взаимосвязь между книгами, все то, что так долго было мне недоступно.

Моисея в Сербилово батюшка приютил, когда его выгнала из дома любимая жена Лида: «Жить с выкрестом? Ни за что! Иди куда хочешь!»

Все было как у людей, Боря закончил институт культуры и честно зарабатывал на хлеб жене и дочери, читая лекции по эстетике в разных учебных заведениях, а когда денег совсем не хватало, подрабатывал в ЦПКО, изображал вторую голову дракона. Когда и этих денег стало не хватать, он выучился на экскурсовода и стал возить экскурсии в Тарусу, там узнал о существовании Оптиной пустыни, вник в это дело и крестился вскоре в Балабаново у последнего оптинского старца Амвросия.

В Калуге он познакомился с Марией Семеновной Добромысловой и Надеждой Александровной Павлович, у которой тогда по благословию нашего старца, отца Наума, литературным секретарем и был будущий отец Алексей.

Тогда он как раз расстался с работой в трех московских музеях подряд, сжег семь сборников своих стихов и пошел в псаломщики на Таганку, на Болгарское подворье. А в перерывах между службами помогал Надежде Александровне разбирать архивы и составлял с ней сборник ее стихов.

Надежду Александровну называли митрополитом в юбке. В застойные годы она печатала в церковных журналах богословские статьи под мужскими псевдонимами, и об этом догадывались только самые близкие ее друзья. А в юности она была последней подругой Блока, и после его смерти – я читала когда-то об этом в старом номере альманаха «Прометей» – она три дня просидела около его гроба, и каждый день менялось его лицо. Первый день он был неузнаваем, на второй день стал как две капли воды похож на своего друга, издателя Алянского, а на третий день стал таким, каким мы все помним благодаря снятой с него посмертной маске.

Потом она не знала, как дальше жить, пришли ее друзья и посоветовали ей поехать в Оптину, записать, что увидит, потому как ясно было, что скоро ничего не будет. Дали ей денег на дорогу. В Оптиной она встретила старца Нектария и так была потрясена его личностью, что осталась у его ног до конца. А он из этой 25-летней светской поэтессы вылепил православного человека (об этом подробно можно прочитать в не раз теперь изданных прекрасных воспоминаниях митрополита Вениамина Федченкова «Божии люди»). Надежда Александровна и спасла отца Нектария от каторги и смерти. Когда закрыли Оптину и погнали всех по этапу, старца оставили на Калужской земле, в глуши, в деревне Холмищи, куда все-таки к нему могли добраться его духовные чада. Старец так и сказал: «За то, что ты спасла мне жизнь, ты будешь со мной в Раю». Спасти батюшку помогла ей ее биография – в Питере она была секретарем Надежды Константиновны Крупской.

А еще она спасла от уничтожения знаменитую оптинскую библиотеку – отправила вагон с оптинскими книгами в Финляндию. Говорят, потом эти книги оказались в запасниках библиотеки имени Ленина, и Батюшка даже благословлял меня тогда устроиться туда на работу, но как-то не получилось.

Отцу Алексею Надежда Александровна и рассказала, что после смерти старца она многие годы, почти всю жизнь, не могла найти себе духовного отца, никто не мог ей заменить ее дорогого отца Нектария. И только оказавшись уже в старости в келье у отца Наума, она вдруг почувствовала себя как в Оптиной у ног своего любимого старца. И уже до самой своей смерти была его верной духовной дочерью.

«Была у меня Надежда... Ты молись за нее. Она спасла оптинскую библиотеку», – услышала я как-то от своего Батюшки.

Боря крестился, стал Моисеем, его выгнали из дома, и он начал новую жизнь в бывшем Спасо-Кукотском монастыре на приходе у отца Алексея и жил у него на полном послушании по уставу пустынных отцов.

И внешностью, и характером они представляли собой полную противоположность друг другу, два московских интеллигента, устроивших себе в Ивановской области Древний патерик.

Вот к ним-то «во внутреннюю пустыню» и отправил меня мой старец, когда впервые увидел меня в своей келье, мыть ржавую кастрюлю и превращаться в православного человека.

«Все пропало, – сразу сказал мне наш общий с отцом Алексеем знакомый, который, в отличие от меня, знал его уже давно, – раз связалась с ним, замуж тебе не выйти, готовься в монашки».

А Моисей все не терял надежды, что его любимые жена и дочка тоже станут православными людьми. Лида приезжала к нему в деревню летом – навещала по старой памяти, и он каждый раз терпеливо уговаривал ее принять крещение. Она, бедная, во время очередной проповеди выскочила из дома и пошла куда глаза глядят, чтобы ничего этого не слышать. И дошла до соседнего прихода, где служил отец Венедикт Лопухин, красавец, аристократ – из рода тех самых Лопухиных.

«Батюшка, он так давит на меня, просто заставляет креститься, нельзя же так издеваться над живым человеком!»

«Конечно, Лида, Вы абсолютно правы, разве можно человека силой заставлять принимать такие решения, нельзя никогда ни на кого давить, это настоящее безобразие, Лида, но креститься-то нужно, и мы это сделаем прямо сейчас».

И она послушно залезла в железную бочку с водой, а когда вернулась к отцам, никому ничего не сказала и поехала в Москву, а Моисея той ночью увезли в больницу с прободением язвы – так враг отомстил ему за спасение жены от вечной смерти.

На вокзале ее встретила Любочка.

– Люба, я крестилась!

– Мама, ты с ума сошла!

– Я крестилась, и ты покрестись!

Тогда мой Батюшка мне и сказал: «Тебе надо познакомиться с женой и дочкой Моисея, они теперь такие подвижницы стали, ходят “Богородицу” поют».

Помню, как приезжали они ко мне вдвоем на мою сторожевую работу и мы не могли наговориться, им все было интересно, все внове, и вот уже темно и ехать им за город, а Любочка уговаривает маму: «Ну давай еще здесь побудем, мы же всего только шесть часиков посидели!»

Теперь обе они монахини, и Моисей монах и священник, вот только, в отличие от своего отца Алексея, который по милости Божией всю свою священническую жизнь служит на одном и том же любимом приходе, Моисей, по имени своему, жизнь проводит в странствиях, с прихода на приход, и всюду его как-то особенно любят деревенские бабушки, усопших родственников которых он подолгу поминает в алтаре, а за живых беспутных служит многочасовые молебны.

Февральский отпуск

Что-то внутри умирало, и было непонятно почему, вроде все идет, как обычно, а внутри пусто и безжизненно. Душа съежилась, как шагреновая кожа. Был слякотный московский февраль, в это время из Москвы никто никуда не уезжает, какой может быть отпуск среди зимы, и народ институтский, пробегая по лестнице, останавливался около меня, сидящей на подоконнике между этажами: «Ты что, серьезно? Ничего себе, нет, ты правда, что ли, куда-то едешь? Отдыхать? Да ладно, рассказывай...»

Прошло ровно девять месяцев со дня моего крещения. В крестильне Елоховского собора отец Герасим, повязывая мне тоненький витой оранжевый поясок поверх крестильной рубашки – для крепости духа (бабушка когда-то был из старообрядцев, отсюда и поясок), между прочим спросил: «А дома-то тебе не будут мешать молиться?» – «Не будут», – уверенно ответила я ему, мне ведь и вправду никто не мог помешать молиться, потому что молиться я совсем не собиралась и крестилась только от страха, что вот умру вдруг, и меня «закопают как собаку». 21 мая 1980 года мы отмечали мое крещение: вечером ели все подряд, точно помню жесткую куриную ногу, и на следующее утро – на святителя Николая – впервые причастилась там же, в Елоховском соборе. Я после этого в церкви была всего несколько раз. Все пыталась купить молитвослов, но это тогда было невозможно.

...То есть срочно нужно было куда-нибудь уехать, немедленно остаться одной и разобраться, что происходит. Нашла дачу в Фирсановке. Хозяйка сарайчика – дорога на станцию через распаханное поле, но на это есть резиновые сапоги – обозначила возможности моего деревенского уединения: жить будешь здесь от Пасхи до Покрова. Но надо было как-то еще дожить до Пасхи, и я стала расспрашивать своих знакомых, не знают ли они какого-нибудь места, куда можно было бы уехать в феврале. «А ты поезжай в Печоры, – посоветовала мне Сонечка, – мы там прошлой зимой с моим другом чудно провели время. Я тебе дам адрес – мы жили у одного деда, он всех принимает, а если что, в самом центре – дешевая гостиница. Лыжи возьми, мы там катались в лесу, такая красота. Там еще монастырь есть, заодно на монахов посмотришь».

Купила в «Детском мире» валенки, увязала лыжи. Одна ночь на поезде до Пскова, и вскоре я уже вышла из автобуса в Псковских Печорах. Помню, меня сразу буквально оглушила нереальная, именно звенящая тишина. И первая мысль была, что вот лыжи-то мне здесь точно не понадобятся, и я несла их неуклюже в левой руке за спиной – вроде они и не мои. Нашла тот дом, о котором говорила Сонечка, но каким-то обострившимся внутренним зрением сразу увидела, что и не зайду туда, – грязь. Добрела до гостиницы, оказалось, что за год она подорожала, да так, что моих отпускных хватит здесь всего на десять дней. Номер дали только на три дня – потом кто-то важный приедет, а тут еще по коридору прокатила пьяная компания с гитарами, и мне стало ясно, что приехала зря, ничего не получится, ни тишины, ни уединения, села на свою гостиничную кровать и заплакала.

Открылась дверь, зашла горничная, удивленно посмотрела на меня.

– А почему Вы плачете?

– Да вот, хотелось побыть одной, подумать о жизни, и все напрасно: номер дали на три дня, денег хватает всего лишь на десять, шум, как в Москве, все бессмысленно и глупо.

– Я договарюсь, Вас оставят на десять дней, это нетрудно. Но я бы Вам посоветовала поискать себе в Печорах комнату; кстати, скоро пост начинается, зайдете ко мне, я Вам дам капусту-картошку-огурцы. Меня зовут Ольга, найдете здесь.

Какой пост, какая еще капуста! И я отправилась искать себе пристанище. Мало того, что ни один дом мне не нравился – каждый словно оживал и отпугивал своим выражением лица, и всюду люди – по несколько человек в каждой комнате. Вскоре мне объяснили, что я ищу

невозможного, никто меня одну нигде не поселит, здесь очень дорогие дрова, верующие приезжают в монастырь на службы, и им все равно, сколько человек в комнате: они туда приходят только переночевать.

«А ты, деточка, поди в церковь-то да помолись, тебе Господь и пошлет», – посоветовал мне встречный дедушка, словно сошедший с картины Нестерова, и я отправилась в монастырь. Вошла в храм, и тут же какая-то бабуля заехала мне клюкой по ногам: «Ты куда в штанах пришла!» Меня удивило только то, что я совсем не рассердилась на нее, а как-то сразу поняла, что нужно переодеться. Слава Богу, юбка у меня с собой была, длинная, клетчатая, кирпичного цвета, с разрезом, но его не было видно под шубой. В таком наряде я там и ходила. И еще в черном Людочкином растянутом свитере до колен.

Я снова отправилась на поиски уединенного жилища. И тут увидела дом и сразу его узнала. Он был старинный, деревянный, с двумя одинаковыми флигелями – крыльями – по сторонам и словно летел над обрывом, над которым едва держался. За ним открывался совершенно брейгелевский пейзаж – только вместо катка внизу была долина, лес, источник и маленькие человеческие фигурки. «Здесь все занято, а хозяйки сейчас нет». Я с горя завернула за угол, прислонилась к дому над самым обрывом и с птичьего полета долго рассматривала черно-белую зимнюю картину внизу. Потом еще побродила вокруг, ничего не нашла и почему-то вернулась в этот летящий дом, где для меня не было места. «Тут, знаете, есть одна комната без двери при кухне, на втором этаже, только хозяйка еще не пришла», – и я поднялась наверх. На кухне жарили ужасную рыбу, и стало ясно, что в этой комнате жить не получится.

Я еще походила по печорским переулкам и, решив смириться с невыносимым запахом, в третий раз вернулась в этот дом, поднялась наверх. Рыбу все еще жарили, нет, я все-таки переоценила свои возможности и уже собралась уходить, как появилась хозяйка.

– Не скажете ли Вы, тут рядом нет ли чего-нибудь похожего на Ваш дом, где бы я могла остаться одна?

– А зачем Вам? Здесь никто так не живет.

– Понимаете, мне очень нужно подумать, разобраться в себе.

– А Вы мне понравились, пойдете.

И она открыла флигель – две просторных комнаты, никакой мебели, кроме нескольких железных кроватей, белая печка-голландка, икона Спасителя в углу и вид из окна на брейгелевский пейзаж.

«...Посреди комнаты – огромная
изразцовая печка,
На каждом изразце – картинка:
Роза – сердце— корабль.
А в единственном окне —
Снег, снег, снег».

– Только сразу предупреждаю, что с дровами у нас плохо, и если вы согласны потерпеть неудобства, то, пожалуйста, живите, если не боитесь холода. За стеной живет монахиня, она топит через день, это будет как-то греть вашу комнату. Если начнутся сильные морозы, приходите за дровами.

«Сколько же это может стоить?» – в отчаянии подумала я, а когда спросила, услышала в ответ неожиданное: «Рубль в день». Я сразу же отдала хозяйке деньги за месяц и стала привыкать к новой жизни. По утрам вода в тазу покрывалась льдом, ряженка на окне замерзала, спать приходилось в шубе и валенках, но это было счастье.

В тяжеленном чемодане у меня много чего лежало: «Агни-йога» – эту книжку мне давно принесли, и все не было времени в нее заглянуть; четыре тома Симеона Нового Богослова

– четыре, потому что это были сложенные вдвое ксероксные страницы; томик Пастернака; краски, карандаши, альбом для рисования и маленькое старинное Евангелие, которое я тоже собралась впервые прочитать; мне его дала на время поездки моя подруга Светлана, так оно потом и осталось у меня.

На следующее утро я отправилась в монастырь, заглянула в книжный киоск возле входа и увидела невероятное по тем временам: на полке стояла книга в черной обложке с надписью «Православный молитвослов».

– Сколько он стоит?

– Тридцать.

– Тридцать копеек?

А книги тогда в магазинах так и стояли. – Ну что Вы, тридцать рублей. Я уже пошла было дальше, как вдруг совершенно незнакомая женщина остановила меня:

– Не думайте ни о чем, покупайте, Вы же больше нигде этого не найдете.

– Это невозможно, я же не могу жить месяц без денег.

– Ничего, проживете, сейчас пост.

Тут я отчетливо поняла, что здесь нужно слушаться, и пошла за деньгами в свой флигель в Партизанском переулке. Вернувшись через полчаса, с удивлением увидела, что женщина эта все еще стоит возле киоска:

– А я книгу для Вас караулю, она ведь одна.

Так у меня и оказалось все необходимое – тишина, уединение, храм, молитвослов с Евангелием и Симеоном Новым Богословом, холод и голод (денег хватало только на пару стаканов геркулесовой каши в день, я ее заваривала кипятком). Правда, голода я там совсем не чувствовала, мне ничего есть и не хотелось. Съела как-то раз пряник и сразу поняла – лишнее. А в «Агни-йогу» так ни разу и не заглянула.

В прихожей стояла тумбочка, на ней электрическая плитка, старик-сосед каждый день что-то варил, помешивая, в банке из-под селедки: «Это каша-чай. Придет время, и ты будешь себе вот так кашу-чай варить».

И я стала каждый день ходить на службы в монастырь. Особенно мне понравилось песнопение «Свете Тихий», и я все пыталась его услышать и утром, и вечером, ведь совсем не понимала богослужения. Открыла молитвослов: «Утренние молитвы» – значит, будем читать их по утрам. «На сон грядущим» – значит, перед сном. Появились какие-то люди, какие-то книжки; в одной, совсем простенькой, «Яко с нами Бог», прочитала, как строить жизнь по-православному, иногда гуляла по улицам и рисовала зимние печорские пейзажи, какие-то стихи там появились, вот эти, например:

Из теплого земного дома
В прозрачный и летучий дом,
Где поле как бы невесомо
И весь поселок невесом,
Где небо пепельного цвета
И слышно, если не дышать,
Когда из тишины и света
На свет рождается душа.

Выучила наизусть утренние молитвы, почему-то все время хотелось читать «Богородицу», она сама звучала внутри, и это мне так странно было.

В то утро я пришла на раннюю службу и вдруг почувствовала, что мне плохо. Из меня как облако вытекала жизнь. Вокруг было полным-полно бесноватых, они лежали всюду, кто лаял, кто кукарекал, прихлебывая крещенскую воду, чтобы не очень шуметь, все к этому привыкли,

и если бы я тоже легла на пол, никто не обратил бы на меня внимания; «только потом все выйдут, кроме меня», – подумала я и стала пробираться к выходу, пока еще оставались какие-то исчезающие силы. Помню, когда я оказалась у дверей, услышала из алтаря: «Оглашенные, изыдите из храма, да никто из оглашенных...», поднялась по дорожке и потеряла сознание. Когда пришла в себя, увидела, что упала на выходе из монастыря, как раз среди нищих, и мне уже протягивают денежку. «Да ничего не надо, помогите мне подняться, пожалуйста», – и я пошла домой, в Партизанский переулок. Посмотрела на себя в зеркало – лицо блее белое, легла в кровать и открыла наугад Симеона Нового Богослова. Никогда не забуду, на каких словах открылась тогда книга: «Если какой человек, крестившийся во взрослом возрасте по здравому размышлению, будет после крещения продолжать греховную жизнь, то ему, чтобы Бог его простил, нужно пролить столько слез, сколько было в купели, в которой его крестили, а до тех пор он должен выходить из храма на словах “Оглашенные, изыдите...”, стоять в парфике (в притворе) и думать о грехах своих...»

И я стала, как мне объяснили, так и поступать. Стояла в притворе и думала, что если меня вывели из храма, значит у меня есть грехи. «Господи, покажи мне мои грехи! Они ведь есть, хоть я их и не вижу». Такая была детская нескладная молитва, впервые в жизни. И вот через несколько дней в четыре часа утра в тонком сне я увидела интересное кино. Очень интересное. Только зачем же так грубо... Мы же на Иоселиани воспитаны. А тут какой-то плакатный монтаж: кадр из жизни моих знакомых. Понятно, то, что они делают, – это нехорошо. Совсем нехорошо. Я бы никогда... Затем сразу кадр из моей жизни. Да я делаю то же самое, только все очень красиво обставлено, интеллигентно. Снова кадр из жизни и деятельности моих знакомых. Откровенный грех. Потом из моей. Все то же самое, только прикровенно. Длинный такой фильм. Я проснулась и все записала в тетрадку. На следующий день, снова в четыре утра, – продолжение, я опять все записала, проснувшись. И на третий день – последняя, третья серия.

У меня уже не оставалось никаких вопросов, все было ясно. С тех пор я знаю, что такое покаяние. Если бы тогда нашелся кто-нибудь, кто сказал бы мне, что есть на земле человек хуже меня, я бы ему не поверила. Цель поездки была достигнута, и мне уже нечего было больше делать в Печорах. Ситуация себя изжила. Хотела разобраться со своей душой, вот и разобралась. Я собрала вещи, попрощалась с хозяйкой. Оставалась еще неделя от отпуска, хозяйка вернула мне оставшиеся деньги, и я отправилась напоследок в монастырь. И тут увидела Ольгу из гостиницы.

– Как Ваши дела?

– Прекрасно. Все, чего я хотела, случилось, и я уезжаю.

– А Вы причастились?

– Нет.

– Как? Три недели прожить в Печорах и не причаститься? И не исповедовались?

– Да кто я такая, чтобы кто-то здесь терял на меня время? Если нужно будет, я сделаю это и в Москве. А если не нужно...

Но не тут-то было. Ольга хорошо понимала то, чего тогда совсем не понимала я, в моей непоколебимой решимости немедленно уехать отсюда она увидела вражью работу и стала уговаривать меня обязательно исповедоваться. «Здесь такие старцы!» – и называла великие имена, которые тогда мне ничего не говорили, и я никого, конечно, не запомнила.

– Нет, нет и нет, – упиралась я изо всех сил, – какое я имею право отнимать время у нормальных людей, вон их тут сколько, а я кто?..

– Ну хорошо, – смирилась она, видя, что моего упрямства ей не сломить, – тогда поедем в Литву к моему духовному отцу.

– У меня нет денег.

– Я Вам дам. Потом пришлете.

– У меня лыжи! – зачем-то сказала я, схватившись за это, как за последнюю соломинку.

– Оставьте у меня.

Она взяла три дня за свой счет, и мы доехали на поезде до Риги, потом еще пять часов на автобусе до Тяльшая. Там на горке стояла маленькая церковь, когда-то католическая. Чисто выметенный двор, аккуратно подстриженные деревья. Из гаража вышел батюшка в застиранном рабочем халате (потом я узнала, что отец Наум недавно подарил ему старенькую «Победу», и он ее ремонтировал).

– Отец Антоний, я Вам работу привезла. Вскоре я уже стояла на коленях в церкви, а он читал мою первую исповедь. Это продолжалось минут сорок. Пол был холодный, и я потом еле поднялась, не могла разогнуть колен. Батюшка вернул мне тетрадку. Интересно, что он теперь будет со мной делать? А он позвал меня в дом и благословил остаться здесь до конца моего отпуска. Дал мне стопку книг, я должна была весь день их читать, а вечером, если появлялись вопросы, он мне на них отвечал.

В доме кроме батюшки-игумена жили две или три сестры, каждый день ни свет ни заря приходили из города еще какие-то сестры, и в шесть утра я вскакивала от возгласа – благословения на полунощницу. В большой комнате, куда меня определили, на столе появлялся деревянный ящик-аналой, и сестры начинали читать 17-ю кафизму, поминая «на Славах» множество имен о здравии и упокоении.

Они всё мыли окна и двери, и стирали, и гладили, работали с утра до ночи, а я читала книжки. Попыталась им помочь:

– Нельзя, это наше послушание.

– А какое мое послушание?

– Твое послушание книжки читать.

– А вам когда читать?

– Да мы уже свое прочитали. А сейчас надо к Пасхе готовиться.

Две с половиной книжки я уже пролистала, три недели просидела на геркулесе, и после нескольких трапез за столом, на котором чего только постного не было (что такое пост, я же теперь знала!), дерзновенно спросила у батюшки, как мне это понимать. А он, ничуть не смутившись, или я просто не заметила, что его обидела, сказал:

– А ты в следующий раз понаблюдай за Галиной, как она обедает.

Галина обедала так: наливала себе тарелку пустого супа и не спеша прихлебывала из нее весь обед, пока я уплетала грибочки и помидорчики.

– А если не можешь по-настоящему поститься, делись с неимущими, и Господь простит.

Вопросы у меня были. Полтора года тому назад мне на работу позвонил отец и сказал: «Юры больше нет». Юра – мой дядя, который был младше меня на два года, – попал под поезд на станции Гражданская, его размолотило между поездом и перроном, он оступился, подсаживая на платформу последнего студента из их компании, возвращавшейся в Москву с «картошки». Это случилось 19 сентября 1979 года. Первая смерть близкого человека в моей жизни. Мы как раз договорились встретиться с ним после двух месяцев летних поездок, он должен был мне привезти какую-то свою статью на стыке физики и философии. Он эти статьи отправлял за границу и сам хотел уехать, но не мог – останавливало то, что у него были очень старые родители. Он был поздний ребенок, маме его – младшей сестре моей бабушки – было сорок два года, когда она его родила, а отец был намного старше мамы. Отец преподавал в МАИ теормех, мама в экономико-статистическом вычислительную технику, а еще с ними жила другая сестра моей бабушки, она в университете преподавала персидский язык. Про нее ходили легенды, что она не верит, что Земля круглая. Юра заканчивал аспирантуру МАИ.

У него была невеста, Зоя Попова, которую он от меня почему-то прятал. Он умер 19 сентября, а через полгода, 15 мая, я пришла к его родителям на Нагорную улицу, там собрались его друзья, потому что был день его рождения. И вот тут я во второй раз увидела его невесту – впервые мы встретились на его похоронах. Она подошла ко мне и сказала:

– Мне надо рассказать тебе два своих сна.

– Почему мне?

– Не знаю. Знаю только, что именно тебе. Первый был сразу после похорон. Он приснился и сказал: «Что же вы мне такую рубашку-то положили?» А второй – на днях. «У меня, – говорит, – все хорошо. Подумай лучше о моих родителях. А 21 мая меня отсюда отпустят, и мы с тобой встретимся». Что значит – встретимся? Мне как раз надо лететь в Томск, в командировку, мысли самые разные приходят.

Я сразу поняла, почему она именно мне эти сны рассказала. Насчет рубашки все было так. Когда он умер, нужно было взять вещи в морг, и выбор пал на меня. Нашли хороший новый серый костюм, зеленую рубашку, галстук. «Надо бы белую», – робко сказала я. Нашли белую. Она оказалась нейлоновой с пожелтевшим воротничком. Я ничего тогда не знала, но интуитивно чувствовала, что рубашка должна быть натуральная, а не нейлоновая, и попросила поискать что-нибудь еще. В ответ был взрыв: «Какой ты жестокий человек, что ты привязалась с этой рубашкой, посмотри на родителей, в каком они состоянии! Не все ли ему равно теперь, какая будет рубашка!» Действительно, что я привязалась с этой рубашкой, и в белой нейлоновой рубахе его и похоронили. И лежит он в ней, как в целлофановом пакете.

А насчет второго сна я ей тогда ничего не сказала, и потом не сказала, потому что видела ее тогда в последний раз. Дело в том, что через неделю – на 21 мая, когда его обещали отпустить и они с Зоей должны были встретиться, – как раз и было назначено мое крещение. Но что я могла ей тогда объяснить?

Вот этот вопрос – он мне с тех пор не давал покоя – я и задала батюшке.

– Как ты не понимаешь? Из всей вашей огромной семьи ты первый человек, который принимает крещение. Какая это радость на Небесах! В этот день его душу отпустили из ада, чтобы он мог при этом присутствовать. Благодать твоего крещения каким-то образом распространилась и на него. Между крещеными и некрещеными там пропасть. А в этот день он был близко. Узнай у его невесты, крещеная ли она, может, они и «встретились» в тот день.

– А что значит «мне там хорошо»? Он же некрещеный был?

– Не судите внешних. Не внутренних ли вы судите? У Бога селений много.

Зоя, конечно же, оказалась единственным крещеным человеком из всех его друзей, которых я знала.

Мне еще один вопрос тогда не давал покоя – зачем он умер таким молодым? Почему вообще нужно молодым умирать? В одной из Батюшкиных книг нашла ответ – потому что «в чем застану, в том сужу». Вот и забирает Господь человека в момент, наиболее благоприятный для его спасения, если предвидит, что дальше эта жизнь пойдет под откос, что он уже не станет лучше, что сейчас – вершина его духовной жизни.

«Да его как будто подменили», – сказали мне Юрины друзья, с которыми он провел в Юрмале свое последнее лето. Он ведь в Москве не мог выйти из дому, если стрелки на брюках были чуть-чуть не так заглажены. Когда мы искали ему белую рубашку, я увидела в шкафу целую наволочку с галстуками. А тут он ходил по Юрмальскому бродвею в тренировочных штанах с вытянутыми коленками. И отправлял своих друзей по вечерам в театр или на концерт, а сам оставался дома с их маленьким ребенком. И все говорил о смерти, о вечности и читал им свои любимые стихи:

Нечеловеческая сила, в одной давяльне
всех калеча,
Нечеловеческая сила земное сбросила
с земли,
И никого не защитила вдали обещанная
встреча,

И никого не защитила рука, зовущая
вдали...

Я его таким не знала.

Первой после Юры умерла его тетя Фаина, которая жила в их семье, она не пережила этой смерти, и ушла в прошлое таинственная история ее жизни в Тегеране, где она выучила персидский язык, так она мне ничего и не рассказала. Потом оказался в больнице с инфарктом его отец, Давид. Батюшка мой отец Наум в Лавре тогда мне сказал:

– Покрести его сама.

А я не понимала, как к нему подступиться, до такой степени он был от всего далек. Шло время, а я никак не могла себя заставить начать с ним этот разговор. «Немедленно, Катя, немедленно делайте это, вы же можете опоздать», – и отец Алексей буквально вытолкнул меня за дверь. В тот день я приехала к отцу Алексею на Изумрудную улицу, в тесную московскую квартиру, где все тогда еще были живы: и отец его, Николай, как и мой, полковник ракетных войск, и Толя, его младший брат, – он единственный в семье был домашним человеком, помощником матери. Каждый день он выгуливал по утрам собаку, а потом ехал на занятия – Толя преподавал скульптуру в Архитектурном институте – или в мастерскую. Сколько раз он приглашал меня взглянуть на свои работы, а я увидела их только на его посмертной выставке в Доме скульптора, где потом и работала до самой своей смерти его мама, любимая моя Екатерина Александровна, – там она была каждый день рядом с Толей. Он как-то попросил у меня редкую в то время книгу «Избранные места из переписки с друзьями» – у меня было полное дореволюционное собрание Гоголя издания Брокгауза и Ефрона. Толя тогда лепил Гоголя, он искал истину, и этот его поиск остался воплощенным в прекрасных скульптурных портретах Гоголя и в многочисленных пьетах – скульптурных изображениях снятия Спасителя с Креста.

Он потерял сознание в мастерской. Старенький профессор вышел к маме, Екатерине Александровне, во дворик Склифосовского: «Рак печени, готовьтесь: это две недели. Только одно могу сказать Вам в утешение – скоро настанут такие времена, что живые будут завидовать мертвым».

«Мама, отпусти меня, заberi бумаги из Лавры!» – метался он в бреду. Мама плакала и меняла бесполезные уже компрессы, а Толе оставалось жить сутки. Батюшка наш отец Наум благословил мне записать его в лаврский помянник «О здравии» на полгода – монашеская молитва и удерживала его на земле.

Гоголя много лет тому назад я купила в Пензе в букинистическом магазине. Нас, тридцать молодых специалистов, «Минмаш» отправил на прорыв: кому-то нужно было поставить галочку, что оказана помощь военному заводу, завалившему пятилетний план. Мы приехали тогда в Пензу в командировку. «Да зачем вы нам нужны», – встретили нас на заводе и определили в цех товаров народного потребления. Это были знаменитые складные велосипеды. Моим делом было там стричь катафоты. После литья на этих красных блестящих новеньких катафотах – отражателях света – оставались пластмассовые сосульки, вот я и отщипывала их целый день, стоя на одном месте, большими кусачками. Мне было двадцать два года, – целый день стоять на одном месте и тупо отщипывать бесконечные сосульки? И я часами читала там про себя наизусть свои любимые стихи – Ахматову, Пастернака, Мандельштама, чтобы время проходило побыстрее. Нам выдавали каждый день по бутылке топленого молока «за вредность» – все-таки пластмасса. Там я заболела, и меня уложили в постель в гостинице «Сура» и запретили возвращаться в Москву вместе со всеми, кого-то одного оставили присматривать за мной: «У тебя порок сердца, и лучше вообще не шевелиться». Через пару дней я отправилась в букинистический магазин – куда же еще! Там и купила это собрание Гоголя в старинных переплетах и, лежа в гостинице, впервые прочитала тот самый том – «Избранные места из переписки с дру-

зьями». Это сейчас он переиздан тысячу раз, а тогда Гоголя издавали и преподавали так, словно этой книги он никогда не писал, и я впервые задумалась о том, что Православие – реальность, но еще не соотнесла это со своей жизнью. Интересно, ведь, как и потом в Печорах, я тогда потратила на книги все свои командировочные, и меня спасала ежедневная бутылка молока за катафоты и копеечные пирожки с ливером, которые продавались в Пензе около Главпочтамта.

Никакого порока сердца у меня в Москве не нашли, и я после ближайшей зарплаты даже еще раз съездила в Пензу: в букинистическом магазине для меня отложили Брокгауза и Ефрона – «Новый энциклопедический словарь» до буквы «П»; дальше его не успели выпустить – грянула революция. А диагноз-то мне в Пензе все-таки поставили правильный – порок сердца, порочное, греховное состояние сердца, если вместо молитвы я читала стихи, а вместо Евангелия три года подряд носила с собой в сумке дневники Блока. Мне уже тогда объясняли, что в моей жизни не так, а я не понимала еще этого языка.

«Срочно езжайте в больницу!» – торопил меня отец Алексей. Я, наконец, собралась с духом и поехала домой за крещенской водой. Дома, в прихожей, меня ждала записка от родителей: «Давид умер. Мы на Нагорной».

«Спешите делать добро!» – с этими словами проводил меня, заплаканную, из Елоховского собора отец Герасим, когда я зашла туда по дороге на Нагорную, чтобы поисповедоваться. Батюшка после моей исповеди служил панихиду, но, увидев меня уже в дверях, побежал ко мне прямо с кадиллом через весь храм:

– Запомните на всю жизнь – спешите делать добро.

День, в который умер Давид, был днем памяти праведного Авраама. И в тот день, на Нагорной, меня уже никто не мог остановить, и я по мирскому чину сама покрестила и свою маму, и Юрину – как только уговорила! Потом уже отцу Алексею пришлось всех полностью крестить по формуле «Аще не крещен».

Там, в Литве или в Печорах, да, наверное, все-таки в Печорах, я впервые в жизни почувствовала абсолютную, пронзительную правду, без рефлексии, которая выматывала меня последние десять лет, – десять лет мучительного поиска смысла жизни. Я ведь и дневник тогда перестала писать, потому что ложь видела в самом движении руки к перу и бумаге, – какой же это дневник, если предполагается читатель, и каждое движение души казалось фальшивым, показным, словно не было почвы под ногами, слой за слоем менялись смыслы каждой вещи, невозможно было докопаться до сути, слой за слоем, ложь за ложью, и не было дна в этой страшной бездне. Как только жива осталась.

По праздникам, наедине с собой,
Всегда по кругу и ни разу прямо,
Выгуливать себя по краю ямы,
Где леденеют воля и покой.

Такие тогда были стихи.

Почва под ногами появилась в день моего крещения. Словно бетонной плитой закрыли эту пропасть, и только несколько раз приближалось к сердцу знакомое чувство черного, бесприютного ужаса, как бывало раньше, когда я туда заглядывала, но тонким страхом, краешком – крылышком задевало и уходило почти сразу. Потом одна память об этом осталась. Наверное, крещенные с детства люди никогда этого и не поймут. И слава Богу.

Я была потрясена тогда – ведь десять лет искала! – ощущением пространства чистого внутреннего света, абсолютной Правды; как я теперь понимаю, это и было то самое «да будет вам да – да, а нет – нет, остальное от лукавого».

– А еще тебе надо поменять круг общения, – посоветовал мне на прощанье отец Антоний. – Вот тебе адреса и телефоны, с этими людьми тебе будет полезно встречаться, а с прежними друзьями лучше расстанься.

– Ну это нет, – отрезала я, – ни за что и никогда с друзьями своими я не расстанусь.

– Смотри, ты сама усложняешь себе жизнь.

И он отправил меня в Москву, куда я приехала словно с другой планеты.

«Интересно, как ты теперь будешь здесь работать?» – встретила меня моя Светлана. Мы тогда работали в одном институте, только на разных этажах. Я на втором, а Светлана на третьем. На третьем этаже держали в клетке бумажную птичку и кормили ее железными скрепочками. На первом этаже читали для нас лекции. Например, про черный квадрат Малевича. Мне был тогда понятен этот черный квадрат. И музыка Денисова, которую мы с мамой слушали в консерватории, – случайно попали на этот концерт – была понятна. Бедная моя мама, она затыкала уши, чтобы не слышать этот бред из болезненных диссонансов, а мне было понятно, о чем это.

Так вот, оказалось, что в то время, когда я была в Печорах, Светлане моей каждую ночь показывали один и тот же сон, она просыпалась и мгновенно его забывала, в памяти оставались только последние слова: «Ты же знаешь, что надо делать, что же ты этого не делаешь?»

И она позвонила Людочке: «Едем в Отрадное». В Отрадном, у отца Тихона Пелеха, они, впервые в жизни, исповедовались в тот же день, когда я исповедовалась у отца Антония Буравцова в Тяльшае. Так что к моему приезду неверующих друзей у меня уже не было.

А еще перед самым отъездом из Тяльшая я увидела у отца Антония удивительную фотографию старца.

– Кто это?

– Это мой духовный отец, архимандрит Наум. Но тебе до него, как от земли до неба. Может, как-нибудь и попадешь к нему. Он принимает в Лавре, в Загорске. Каждую среду Великим постом там соборование, постарайся попасть в Лавру в этот день.

В Лавру я в этот день тогда не попала, приехала одна моя знакомая из Ленинграда, востоковед и кришнаит: «Что вы здесь все креститесь! Ты что, не понимаешь, что теперь ты будешь социально бесперспективна!» И мне пришлось взять ее на себя, и мы с ней гуляли по Москве, пока мои подруги соборовались в Лавре.

Вскоре, может быть даже в ту среду, Светлана оказалась в Лавре на исповеди. Я хорошо помню, как уговаривала ее переодеться, а она отправилась в Лавру, натянув джинсы: «Это моя одежда, и я поеду в том, в чем хожу всегда».

«Ведь вот выгонишь тебя, а ты больше сюда не придешь. В следующий раз оденься как полагается», – услышала она от отца Венедикта, и в следующий раз мы уже вместе старательно выбирали ей наряд – аккуратная прямая юбка до колен, зеленая индийская футболка с короткими рукавами, конечно в обтяжку, на голову – маленький зеленый платочек – под цвет...

– Ну как?

– По-моему, очень хорошо.

– Ну ты совсем ничего не понимаешь, – вздохнул батюшка, когда увидел ее на исповеди.

Тогда мы пошли в магазин и купили чудесный ситец, светлый, в мелкий цветочек, и вместе сшили платье, такое красивое получилось, неожиданно изысканное, совсем английское, старинное – все в оборках, с длинными рукавами, никогда мы такой одежды не носили.

Было жарко, по Лавре бродили полураздетые иностранные экскурсии. В дверях Предтеченского храма стоял монах и преграждал им путь. Подошла Светлана, и он, взглянув на нее, распахнул двери и радостно воскликнул: «Вот как настоящие христиане одеваются!»

Светлана моя уже давно привычно ездила к своему отцу Венедикту, а я все никак не могла туда выбраться. «Я знаю, к кому тебе надо. Тебе – только к отцу Науму. Поедем прямо завтра. Все бросай и езжай».

На следующий день – это было 1 октября – мы уже были с ней в Лавре возле Батюшкиной кельи. Времени на часах – полпервого, я в длинном до пят черном велюровом пальто, красные сапоги на каблуках с золотыми шпорами – мама подарила. «А ты не можешь одеться как-нибудь попроще?» И теперь уже я отвечаю Светлане: «Это моя одежда, я так живу, зачем я буду изображать то, чего на самом деле нет? Если мне там скажут, тогда я переоденусь».

Вышел Батюшка, сразу увидел меня:

– Ты в первый раз? Эх, жалко, времени мало. Елена, как ты думаешь, если мы ее определим к отцу Алексею? Он сюда завтра с утра должен приехать, познакомь ее с ним.

На следующее утро меня буквально подбросило в кровати в четыре часа, и в восемь я была уже в Лавре. Там меня дожидалась Елена Семеновна, которая приехала только для того, чтобы сказать мне, что отца Алексея сегодня здесь не будет. Я сразу засобиралась домой, и она еле уговорила меня еще раз зайти к Батюшке. «Зачем я к нему пойду, он же мне все сказал,ждемся отца Алексея». Ей все-таки удалось затолкнуть меня в Батюшкину келью, а он вдруг весело спросил: «Интересно, откуда у тебя это пальто? Пришить пуговицу внизу, и будет как раз то что нужно», – на самом деле с пуговицей внизу получилась бы почти ряса, но это я сообразила уже потом. И Батюшка стал мне рассказывать про Бородинскую битву, где какие редуты стояли, кто и как побеждал, кто в кого стрелял. Минут сорок рассказывал. А у меня в это время Бородинская битва была в голове – какие только помыслы ни приходили, было очень стыдно, и я старалась их загнать подальше, свести на нет, чтобы Батюшка их не прочитал... Я получила черные четки. Сколько слез было пролито, чтобы сердце смирилось и радостно приняло то, что тогда сразу стало понятно.

Помню, в тот день, когда я возвращалась домой и на Курском вокзале шла за билетом на электричку, какой-то наверное болящий, громко кричал мне вслед: «Монашка! Монашка!» Это мне-то, в роскошном пальто, на высоких каблуках! Через два дня я упала в этом пальто в лужу, отдала его в химчистку и получила оттуда старую тряпку с драным велюром. А еще через несколько дней оступилась на виадукe и сломала каблук, он упал на рельсы, и по нему проехал поезд.

Так началась новая страница в моей жизни, у меня изменилось все, не только одежда. Закончилась одна жизнь и началась другая, только мне иногда кажется, что тогда время не то чтобы остановилось, но стало идти по каким-то другим законам, и с тех пор по внутреннему человеку я так и чувствую себя на столько лет, сколько мне было в тот день в Батюшкиной келье.

Через десять лет в Коломне – ну и развеселила же я Батюшку, когда потом приехала и рассказала ему об этом, – мне приснился мой иноческий постриг. Будто я стою перед Батюшкой на амвоне в белой рубахе, а он огромными старинными ножницами старательно стрижет мою голову почти наголо, но так, что на макушке от шевелюры остается четкий, большой крест, и при этом серьезно говорит: «Тут нужно быть специалистом».

Бабушкина свечка

В начале декабря позвонили из Омска: «Мы уже не справляемся, Бэлочке в больнице совсем плохо, за ней нужен ежедневный уход, а дома слепая бабушка, приезжайте кто-нибудь скорее».

Бэлочка, папина старшая сестра, заболела два года тому назад, у нее обнаружили рак и сделали операцию, вывели трубку из живота. Сначала она как-то держалась, а потом процесс пошел очень быстро. Теперь она лежала в больнице – медсанчасти Омского авиационного завода, где в Великую Отечественную работал под конвоем Туполев. Больницей заведовала ее двоюродная сестра, поэтому тетю переводили из отделения в отделение, каждый месяц ей выписывали новые документы, и тетя в больнице жила давно.

В Омск они попали в войну. Когда немцы заняли Велиж – маленький городок между Витебском и Смоленском – всех евреев согнали в гетто, и они там рыли себе могилы. Потом наши на один день отбили Велиж – всем было ясно, что это ненадолго. Тогда бабушка подхватила троих детей – дочь и двух младших сыновей (мой отец – старший сын – с первого дня войны был на фронте, он как раз перед самой войной закончил Ленинградское артиллерийское училище), – и они в чем были поехали в Омск в тамбуре вагона. И остались живы. А те, кто задержались на один день собирать вещи, все погибли – на следующий день немцы опять вошли в Велиж, евреев согнали в деревянную школу и сожгли заживо.

Дедушки – его звали Илья – к тому времени уже несколько лет не было в живых. Дедушка считался хорошим специалистом по оценке меха, и семья жила в достатке. У них был десятикомнатный дом, но все комнаты были очень маленькие, проходные. В тридцать седьмом году дедушку вызвали в НКВД. Арестовали. Бабушка взяла четверых детей и встала под окнами этой конторы. Деда отпустили. Потом его еще два раза арестовывали. После третьего ареста он пришел домой, открыл сундук с мехом, показал жене – вот вам на черный день. Лег на кровать, повернулся лицом к стенке и больше уже не вставал и ничего не говорил. Что они там с ним сделали, неизвестно. Он так пролежал три года и умер от костного туберкулеза.

Папе моему тогда пришлось кормить семью. Он давал уроки математики, и люди приносили им какую-то еду в благодарность. С детства отец хотел быть учителем математики, а стал военным инженером. Занимался испытаниями твердотопливных ракет СС-20 «Темп» – защищал Родину. Потом эти ракеты попали под разоружение. 9 мая он сидел перед телевизором – смотрел парад на Красной площади. Везли всякую военную технику, а его ракет уже не было. И он тогда сказал: «На что я потратил жизнь?»

Как-то я попыталась его покрестить, он буквально рывкнул на меня: «Я тебе покрещу!»

Мама его – бабушка Маня – рассказывала, что много лет болела – была кровоточивая. А как только они с детьми без вещей, без денег поехали в Омск, она сразу выздоровела и больше уже не болела никогда. Если не считать катаракты, от которой она совершенно потеряла зрение на три года, – потом ей сделали операцию, и она смогла даже читать. Когда ей было уже 90, она впервые положила под язык таблетку валидола: «Ну вот, сердце заболело. Этого еще не хватало».

Всю войну она молилась за сына, моего отца, и Бог его хранил. Однажды, рассказывал отец, санитарный поезд, в котором он, раненый, лежал, попал под прямой обстрел. Все, кто только могли, выскочили из вагонов, и их расстреляли и раздавили немецкие танки. Настала тишина. В вагоне остались одни лежачие, в папином купе два тяжелораненых офицера – мой отец и политрук: еврей и комиссар. Они достали револьверы и приготовились застрелить друг друга, чтобы не попасть в плен, когда в вагон войдут фашисты. Но никто не вошел, и ночью они услышали, что их вагон подцепили к паровозу, и они доехали до госпиталя в Анжеро-Судженске.

Через много лет, когда я уже училась в школе, отца разыскали пионеры-следопыты и принесли нам газетную статью, где была описана эта история. Оказывается, тот санитарный поезд весь был тогда уничтожен, только два вагона оказались за холмом, поэтому они не были расстреляны танками. Ночью нашим удалось починить рельсы и вывезти эти вагоны.

Перед смертью отец пособоровался, причастился и повенчался с мамой. Он приснился нам только два раза. Один раз мне и один раз моей сестре. Она видела, что он медленно марширует в строю, который идет за украшенным, накрытым знаменами лафетом, – в каждом ряду по несколько человек. У нее сердце загорелось любовью, она кинулась к нему: «Папа!» – а он отстранил ее рукой, и они пошли дальше торжественным строевым шагом. Может быть, ей был показан воинский чин? А я видела отца в белой одежде, как сейчас носят – в безрукавке со множеством карманов, он радостно улыбался, и на груди у него висела ламинированная табличка на прищепке, на ней крутилась какая-то шестеренка, и я отчетливо прочитала на табличке его имя, фамилию, а дальше – «Инженер. Очень много работы».

Интересно, что означала тогда эта последняя строчка: или его главную земную добродетель – невероятное трудолюбие, умение брать на себя ответственность и принимать решения, или у него и там по-прежнему много работы – Родину защищать...

Тетя Бэла – папина сестра – была старше всех, и пока братья учились, она работала, потом все разъехалась, а она так и прожила с мамой всю жизнь. Замуж тетя не вышла, и у нее одной не было высшего образования. Подруги ее рассказывали, что она любила одного поляка, но пожертвовала своей любовью ради мамы, так и осталась девицей.

Ей было 60 лет, когда она заболела. Я как раз тогда крестилась, два года тому назад. А теперь отец собирался в Омск. Он складывал чемодан, а я все крутилась рядом с ним, напрашиваясь в попутчики. Наконец это ему надоело: «Ты будешь там ее крестить! Через мой труп ты туда поедешь!»

На следующее утро я была уже в Лавре и все рассказала Батюшке, отцу Науму. «Так, может, тебе тогда на самолете полететь?»

Домой я приехала уже с билетом в кармане. «Что ты наделала, ты же убьешь отца!» – испугалась мама. «Это моя тетя. Разве я не имею права с ней попрощаться?» – «Ну да, действительно, ты же имеешь на это право». Так я и полетела в Омск. На работе договорилась, что меня будут заменять, если что, вызовут.

Когда я в Омске появилась на пороге квартиры, мне оставалось только молиться, пока отец скажет все, что обо мне думает. Потом он как-то вдруг резко успокоился: «Вот и прекрасно, вот и оставайся здесь, раз прилетела, ты и будешь ухаживать за ней». Мы тут же отправились с ним в больницу. У тети уже несколько дней держалась высокая температура. «Не вздумай ее крестить!» – и он пошел к врачам, а у меня в кармане уже все было приготовлено: и крещенская вода, и вата. Тетя спала и ничего не почувствовала. С тех пор она стала Еленой. Пришел отец вместе с врачом. Померили температуру – нормальная. И всю неделю потом врачи только удивлялись – температура так ни разу больше не поднялась.

Мы вернулись с отцом в тетину квартиру, там еще лежала бабушка, три года как совершенно слепая. Утром отец включил радио и стал бриться. В этот день он собирался лететь в Москву. У него тогда часто случались спазмы сосудов головного мозга, он мог упасть, потерять сознание. А вдруг так и умрет некрещеным? И я придумала. Приготовила возле него на столе место, достала утюг и собралась гладить юбку. Включила радио погромче и, произнося крестильную формулу, три раза с ног до головы окропила отца крещенской водой. «Что ты меня всего водой облила?» – спросил он, и вдруг сел и долго сидел за столом молча.

Я проводила его в аэропорт.

Отец много лет не догадывался, что он крещен. Когда его внучке, Оле, исполнилось лет пять, она как-то за обедом вдруг в разговоре сказала:

– А у нас в семье все крещенные.

– А я? – спросил отец.

– И ты, – ответила я ему.

– Кто же меня крестил?

– Я, в Омске.

Он встал и ушел к себе в комнату. Мы ждали чего угодно, только не того, что было дальше. Через какое-то время отец появился в прихожей и, надевая ботинки, тихо спросил:

– А как меня называли?

– Михаил.

– Хм, Михаил, – и пошел за газетами.

Потом Батюшка сказал мне: «Вообще-то так делать нельзя, но по твоей вере это было принято». Любушка настаивала: «Его надо покрестить в церкви», – и через несколько лет я приехала домой с отцом Моисеем. Сначала папа от всего отказался, и отец Моисей ушел в маленькую комнату «лупить поклоны». Пришлось и мне потрудиться вместе с ним. И все получилось: отец стоял как дитя, его миропомазали и причастили, прочитали все положенные молитвы. И однажды он наконец сказал: «Я же не говорю тебе, что Бога нет». А вскоре я нашла у него под подушкой Библию.

Отец тогда уехал, а я осталась в Омске.

А Светлана поехала к Батюшке нашему отцу Науму и рассказала обо мне. Вдруг он спросил у нее: «А ей там, наверное, холодно?» И народ той зимой в Омске удивлялся – температура так ни разу и не опустилась ниже 20 градусов.

А еще Батюшка, когда отправлял меня в Омск, сказал: «У меня там есть отец Борис. Он такой! Он тебе во всем поможет».

И вот я уже захожу в церковный двор, спрашиваю, как найти отца Бориса Храмцова, на меня набрасываются омские старушки и кричат, что надо уважать монашеский чин и не таскаться к батюшке день и ночь, на это есть время службы. Но я все-таки нашла его. Он был еще очень молодой тогда, с высоким звонким голосом, совсем худенький. У него были даже какие-то утонченные манеры, невероятная в наше время внимательность и предупредительность, удивительная душевная чуткость. Он выслушал меня и сказал, чтобы я приходила к нему в любое время, если понадобится исповедь или какая-то помощь, а если хочу, могу становиться на клирос. Помню, в первый раз, когда я пришла к нему в храм, он мне дал послушание чистить большой квадратный подсвечник канона, сейчас я и в этом вижу некую символичность.

Я тогда ходила в больницу каждый день. Батюшка дал мне еще правило – сто пятьдесят раз читать «Богородицу». В больницу я шла пешком и как раз по дороге успевала прочитать ровно пятьдесят молитв за двадцать минут. Палаты были на четверых. Люди выписывались из больницы и приезжали потом с другого конца области, чтобы мою тетю навестить, – привозили грибы, соленые огурцы. А врачи так и говорили: «Она у вас воплощенная кротость и воплощенное терпение».

Потом шла домой кормить бабушку. Еще пятьдесят молитв по дороге. А вечером – опять в больницу. Еще пятьдесят молитв. И так день за днем. Мне сначала непонятно было, что дает душе чтение этой молитвы, – ведь в ней нет никаких прошений, как бы приветствие только. И вот однажды я поняла что, почувствовала сердцем, – умиление.

Часто я ленилась и засыпала по вечерам, не прочитав положенных молитв и акафистов. Это происходило действительно часто, примерно через день. Но вот что интересно – на следующее утро, если я пропускала накануне правило, она ничего не воспринимала из того, что я пыталась ей втолковать, только сердилась. А в другие дни все слушала и со всем соглашалась. Подолгу говорить было нельзя, многое – только эзоповым языком, в палате лежали чужие люди, и иногда лишь несколько слов скажешь о главном за весь день, и так день за днем по капле.

Однажды она тихо спросила меня:

– Что же, я так и умру некрещеная?

– Слава Богу! – вздохнула она, когда я ей все рассказала.

– Но этого мало, – говорю, – нужно еще миропомазание и причастие. Это может сделать только батюшка.

– А батюшка к коммунисту придет?

– К такому, как ты, – придет. Надо только ему позвонить.

– Нет-нет, – испугалась она, – не надо, чтобы сюда приходил священник.

Шло время, и у меня появился вопрос: а не молюсь ли я против воли Божией, когда прошу ей исцеления? Может быть, Господь и не хочет ее исцелять и нужно молиться только о спасении ее души? Тогда я со всеми просьбами чаще всего обращалась к преподобному Серафиму Саровскому. И вот на следующее утро я пришла к отцу Борису, рассказала ему о своих сомнениях и попросила отслужить молебен преподобному Серафиму – задать ему этот вопрос, может, он даст понять, какая воля Божия о ней. Молебнов в тот день было заказано много, и отец Борис служил мой молебен в числе других. Запомнилось, что он тогда даже просил прощения за то, что не имеет возможности отслужить его отдельно. Меня всегда как-то смиряла его невероятная деликатность, рядом с ним собственная бестактность становилась особенно невыносимой.

На следующий день, в шесть утра, раздался телефонный звонок. Звонила еще одна моя омская тетя, она была атеисткой, заведовала каким-то клубом: «Я с четырех часов не сплю. Мне приснилась Бэлочка, мы с ней гуляли по городу, она прощалась с Омском. И вот когда мы переходили через Иртыш, на середине моста она умерла у меня на руках, и что удивительно, – у нее осталось очень мало волос».

Я поняла, что это ответ от преподобного Серафима, но отчетливо подумала, что окончательно поверю, если будет еще два таких же сна. На следующий день, когда я утром вышла из дому, увидела на лестнице соседку по этажу: «Я тут тебя дожидаясь. Знаешь, мне приснился сегодня странный сон. Мы с Бэлочкой ходили по городу, и она с ним прощалась. Потом пошли по мосту через Иртыш, и она умерла на середине моста у меня на руках, и я запомнила, что у нее волос почти не осталось».

Надо сказать, что в те дни, когда в больницу до работы приходила тетина подруга Люба Горбунова (они вместе работали в заводской бухгалтерии), я могла утром идти в церковь. И попозже приходила к тете, через час после Любы. В тот день я как раз с утра была в церкви, и когда пришла в больницу, увидела, что Люба сидит в гардеробе.

– А что ты здесь делаешь?

– Тебя жду. Я должна рассказать тебе свой сон.

– Как вы с Бэлочкой ходили по городу?

– Откуда ты знаешь? Да, и еще ходили с ней по заводу – она прощалась с городом и с заводом, а потом мы пошли через Иртыш, и она умерла у меня на руках. А от ее шевелюры почти ничего не осталось.

Все стало понятно. Я больше не просила ни о каком исцелении, молилась только, чтобы она оказалась в Царствии Небесном.

Как-то однажды тетя вдруг сказала:

– Я теперь знаю, как там в аду.

– Откуда?

– Мне показали.

– Во сне?

– Нет, так, наяву.

– Ты мне расскажешь?

Она помолчала, потом нехотя произнесла:

- Очень много черного и страшный пожар.
 - Расскажи поподробнее!
 - Не сейчас. Потом сядем тихонько, и расскажу.
- Потом я от нее больше ничего не добилаь.
- Я все забыла, – отвечала она, но было ясно, что она просто ничего не хочет мне рассказывать.

Прошло два месяца, и я решила съездить домой. Приехала к Батюшке и сразу услышала от него:

- Что ты здесь делаешь? Возвращайся в Омск.
- А долго мне там быть?
- Пока не отправишь их в Царствие Небесное.

Свою слепую бабушку я тоже там дерзновенно сама покрестила, и она теперь иногда звала меня в комнату, чтобы сообщить:

- Вот они пришли.
- Кто – они? – спрашивала я, хотя каждый раз слышала одно и то же. – Эти двое. Один поменьше, другой побольше, в полосатых штанах. Сидят у меня в ногах на кровати.

Я крестила их широким крестом:

- Ну как?
- Собирают вещи и уходят.

Бабушка почему-то всегда знала, откуда я возвращаюсь домой – из больницы или из церкви (я, конечно, бабушке ничего не докладывала). Когда я приходила из больницы, все было мирно, но в те дни, когда я возвращалась из церкви, она встречала меня скандалами, ей тогда начинало казаться, что я вещи и продукты из дома уношу в церковь и пора жаловаться в милицию. В маленькой квартирке было некуда деться, и приходилось часами выслушивать ее обличительные монологи, терпения едва хватало. А однажды не хватило. Это продолжалось уже четвертый час. Вдруг со мной что-то случилось, я схватила мясорубку, швырнула ее в железную раковину и ужасно закричала: «Все! Хватит! Не могу больше!»

«А я и не знала, что ты такая нервная», – спокойно сказала бабушка. И больше я никогда от нее ничего не слышала, когда возвращалась из церкви домой.

На следующее утро я поехала к отцу Борису на исповедь. «А что ты хочешь? Ты объявила дьяволу открытую войну. Неужели ты думаешь, что он оставит тебя в покое? Это нормальный ход событий, не удивляйся».

Однажды утром мне позвонила из Москвы младшая сестра: «Я все поняла, ты не обидишься на меня, если я скажу, что знаю теперь больше тебя, я поняла, как все устроено! Мне сегодня во сне все объяснили». Она увидела Землю – земной шар – как бы со стороны. Видит планету со стороны, но одновременно находится на ее поверхности. И понимает, что Земля – живое пульсирующее существо. Видит всех людей, живущих на земле (наверное, всех христиан, я теперь так думаю), и слышит их мысли, каждого из них. И видит, что они все грешат, и каждый из них мысленно называет свой грех: «Я еще раз согрешу, а потом, потом покаюсь», «Сейчас сделаю аборт, а в следующий раз рожу ребенка», «Сегодня не буду читать вечерние молитвы, а завтра – непременно». Все они находятся на Земле, но одновременно вращаются вокруг нее. И планета, это живое пульсирующее существо, тоже находится в движении, они вращают ее своим вращением, которое как-то связано с тем, что они все больше и больше грешат, и голоса их сливаются в одно какое-то короткое слово из пяти букв, на букву «З», которое все определяет, все объемлет, звучит над всей Землей. Она так и не смогла его вспомнить. И чем больше они грешат, тем быстрее вращение Земли. И грех каждого причиняет ей боль, и она знает, что и это живое существо испытывает боль, и его боль несоизмерима с ее болью. Она одна, и у нее одна боль, а их миллионы, и поэтому боль его в миллионы раз мучительнее. И это

усиливающееся вращение – связанное с его великой болью – совершается по спирали: «Как бельё выжимают», – объяснила она мне. Перекрут все больше и больше, там такое напряжение, там уже так тонко! Совсем почти ничего не осталось, понимаешь? Уже почти все! Уже не осталось времени, скоро все лопнет, взорвется. Всему конец. «Господи, я все теперь поняла! – закричала она во сне. – Прости меня, я никогда не буду больше грешить!» И тут она увидела Его глаза. Они были огромные, они смотрели прямо на нее, и такое страдание в них было...

С тех пор она знает, как Господь может видеть всех людей одновременно и как могут святые видеть и слышать множество людей одновременно, поняла, что такое Тело Христово – Церковь, много всего поняла.

Мне было лет восемь, когда родители в очередной раз прилетели в Омск и нас с сестрой взяли с собой. Летели на транспортном военном самолете, ИЛ-14, среди каких-то ящиков. Было очень холодно. В Омске бабушка с тетей жили тогда в коммуналке, в бараке, на улице 20 лет РККА. На бараке висел плакат: «Наш барак будет стоять при коммунизме».

Вечером я пришла на кухню и увидела, что бабушка ставит в большую алюминиевую кастрюлю белую парафиновую свечку.

– Это за твоего папу, я каждую пятницу зажигаю свечку, благодарю Бога за его спасение.

– Бабушка, так ведь Бога нет!

– Это ты мне потом объяснишь, а сейчас последи за свечкой, а я пойду к соседям телевизор смотреть.

Сколько я помню, она всегда ходила в платке, и поэтому казалась старше своих лет. Соседи по улице бабушку уважали. Они приходили к ней, когда надо было разрешить какой-нибудь спор, кого-то рассудить. Про нее рассказывали, что раньше она читала в синагоге свитки Торы. Вся кошерная посуда у нее была сложена отдельно – не дай Бог перепутать.

Приближалась еврейская пасха. Бабушке привезли из синагоги мацу, и мне приходилось для нее что-то из этой мацы готовить. Она сидела на кухне и руководила, а я все делала, как она просила, и старательно кропила все приготовленное крещенской водой.

Через две недели пришла настоящая Пасха. Как же мне хотелось причаститься! Пойти в Никольскую церковь на ночную службу к отцу Борису было невозможно – бабушка бы не поняла, – и мне пришлось поехать в собор на позднюю Литургию, к десяти часам утра. Уже заканчивался Евхаристический канон, а на исповедь еще никто не выходил. Я стала спрашивать, как же мне исповедоваться, и услышала: «Какая исповедь? На Пасху не исповедуют и не причащают, на это был весь пост». Как? Как это не причащают? Я стояла и плакала, и тут все-таки откуда-то вышел батюшка и спросил: «Исповедники есть?» – «Есть!» – крикнула я как ненормальная, на весь храм, и побежала к нему.

Тетю перевели в очередное отделение. В этом пятом по счету и последнем отделении соседи по палате – никогда такого не было! – ее тихо возненавидели. То ли боялись заразиться – есть такая теория, что рак – заразная болезнь, то ли Господь ожесточил их сердца, чтобы я смогла, наконец, принять единственно правильное решение. Она давно просилась домой, а я все боялась, что не справлюсь, – вдруг понадобится особенная медицинская помощь, да и уколы я делать не умела, никогда не приходилось.

Тете становилось все хуже и хуже, врачи просто не понимали, в чем душа держится, они так и говорили, что не понимают, и не удивятся, если она в таком состоянии проживет еще долго, – Господь держал ее на земле вопреки всем земным законам, она давно жила только чудом.

Настали дни, когда я совсем уже не могла оставлять ее одну. Трое суток провела в больнице, бабушку кормил кто-то из родных. К вечеру третьих суток стало ясно, что пора звонить маме. У нас с мамой была договоренность, что когда придет время, мама возьмет отпуск на

месяц и прилетит в Омск. «Я буду завтра в два часа дня», – сказала она, а ночью меня позвала в коридор дежурная сестра: «Что она мучается в этой палате, заведи ты ее!»

Медсестра научила меня делать уколы, и я подумала, что пусть лучше она страдает от моих неумелых уколов, чем от грубости соседней по палате. Документы на выписку оформили моментально – кому нужен лишний процент смертности? И в восемь утра, подписав у завотделением бумаги, мы уже везли на каталке мою тетю к машине «скорой помощи». А она была счастлива – домой!

«С ума сошла, что ты делаешь! – увидела нас главврач медсанчасти, она как раз шла на работу. – Ты же не справишься, немедленно поворачивай назад!» Но я безучастно толкала каталку к машине, мне было уже все равно.

Когда привезли тетю домой, я тут же позвонила отцу Борису. «Ждите меня через полчаса», – сказал он мне, и я стала думать, как изолировать бабушку, чтобы избежать скандала. И тут в дверь позвонили и пришла жена папиного младшего покойного брата – она была там единственным православным, хоть и нецерковным человеком. «Зина, возьми бабушку на себя!»

Она увела бабушку на кухню, а тетя вдруг сказала: «Переодень меня в чистое», – как будто знала о моем звонке отцу Борису.

Она лежала в чистой белой рубашке в мелкий цветочек, когда приехал на такси батюшка, миропомазал ее, исповедовал – она уже плохо произносила слова, мне приходилось переводить, и причастил ее. «Смотри внимательно, – сказал он, – когда я уеду, проследи, приняла ли она частицу, такие больные часто ничего не чувствуют, что-то я беспокоюсь. Я сразу увидел – она у тебя необыкновенная. Я всегда буду за нее молиться».

Я проводила батюшку, вернулась к тете, и вдруг на рубашке, возле плеча, увидела выпавшую маленькую треугольную частицу серого цвета. Бежать на кухню за ложкой? А вдруг она ее за это время смахнет или размажет? Мне ничего другого не оставалось, как осторожно взять ее и поднести к тетиним губам. Она проглотила Причастие. А я в это время осмысливала происходящее – частица, которую я бережно только что держала в руках, была не хлебом, а плотью, крошечным кусочком сырого мяса.

Вскоре приехала мама, на месяц, она совсем не удивилась, увидев Бэлочку дома.

«Не бойся, подойди ко мне, – услышала она от папиной сестры, – во мне уже никакой болезни не осталось». Действительно, последняя рвота – а это мучило ее давно и постоянно – была перед маминым приездом, последняя черная рвота, и она лежала совсем прозрачная. Я собрала все это в платок, высушила, потом мы с мамой сожгли этот платок в ведре, завязали в узелок пепел и бросили в Иртыш с того самого моста.

Ночью ей было совсем плохо, промидол уже не помогал, вызвали «скорую», и они укололи ей морфий. А в полседьмого утра стало понятно, что это конец. Она тяжело дышала как никогда, и я начала читать канон на исход души. «Подожди, еще рано», – услышала я вдруг ее голос, но все-таки дочитала канон до конца, и она еще жила минут десять, а потом три раза глубоко вздохнула, три раза посмотрела вверх удивленным взглядом – увидела что-то, ошеломившее ее, три раза отчетливо, медленно произнесла: «Да. Да. Да». И умерла у меня на руках.

– Ангелы летят, – спокойно сказала бабушка.

– Где? – спросила я.

– Из угла в угол, вереницей.

– А какого они цвета?

– Черного.

Я покропила комнату крещенской водой.

– Исчезли, – сказала бабушка.

– Покропи и на кухне, – попросила мама.

Утром собрались омские родственники, они все как-то поместились на кухне, в комнате лежала слепая бабушка, а я сидела возле тети и читала Псалтирь. Наверное, прошло часа два или три после ее смерти, и вдруг я увидела, как изо рта у нее выплывает белое густое облако, как спеленутый младенец, именно такого размера и формы, и сверху этого овального облака – ее лицо, вернее, прекрасный лик, она была молодая, лет тридцати, огромные глаза пронзительно смотрели на меня, в самое сердце. Вертикальное облако медленно поднималось наискосок и вверх, в правый верхний угол комнаты, прошло сквозь потолок и исчезло. Все это время она смотрела на меня не отрываясь. Я поняла, что увидела ее душу, – она ведь и была как младенец, только что миропомазанная и причащенная.

Прошло еще часа три, я погладила ее по руке – рука оказалась теплой. «Я не дам ее хоронить, у нее летаргический сон», – объявила я родственникам, которые все это время сидели на кухне. «Деточка, ты переутомилась, ложись спать». – «У нее руки теплые, потрогайте». Все почему-то боялись к ней прикоснуться. Тут зашла Люба Горбунова. «Ты можешь потрогать ее руки?» – спросила я Любу. «Конечно, – она подошла к тете и закричала: – Да у нее руки теплые!» Родственники стали звонить знакомым врачам-патологоанатомам: «Сколько времени остывает тело?» – «Два часа». – «А если через шесть часов руки теплые?» – «Такого не может быть». – «Это факт». – «Ну, бывает, но крайне редко».

«Крайне редко люди спасаются», – подумала я.

К вечеру ногти на левой руке у тети все-таки посинели, а на правой были розовые, и руки – по-прежнему теплые и мягкие.

С завода привезли гроб, и тетю похоронили на следующий день на еврейском кладбище. Я положила на могилу тюльпаны. Когда мы пришли на кладбище на девятый день, тюльпаны мои лежали как свежесрезанные, как будто их принесли только сегодня.

После похорон я сразу пришла к отцу Борису. «Нарисуй мне эту частицу. Да, точно, это она. Я хорошо помню – треугольная. Тебе было это показано для укрепления веры. А то, что она три раза сказала “Да” – ей явилась Матерь Божия, и она исповедала Святую Троицу. Веруешь ли в Отца? – Да. – Сына? – Да. – И Святаго Духа. – Да. Понимаешь?»

Сразу после смерти дочери бабушка попросила принести ей жесткую табуретку и сидела только на ней, отказываясь от стульев и кресел, и ложилась в кровать лишь ночью; так она выражала свою скорбь и память о дочери – сидела неудобно.

Я вернулась в Москву и приехала к своему старцу, архимандриту Науму, и как только вошла в крошечную приемную, сразу услышала: «Вот у нее бабушка умерла. О ней еще при жизни было известно, что она будет в Раю». «Она у тебя в Раю», – повторил Батюшка, когда я ему все рассказала. – Только надо было вам договориться, чтобы она тебе после смерти явилась и сообщила, где она, – как мы теперь узнаем, в каких она селениях? Она бы пришла к Господу со смирением: “Господи, я ей обещала”, – ее бы и отпустили к тебе, так или во сне...» – «Батюшка, там такая простая и ясная жизнь была, совсем монашеская, а теперь снова одна суета». – «А ты поживи в Омске, пусть квартиру на тебя оформят». – «А как мне молиться?» – «А ты и так по-монашески молишься».

Бабушку забрали в Москву, сделали ей операцию, и она стала видеть. Омскую квартиру, как только узнали, что я собираюсь туда возвращаться, родители тут же подарили Зине, которая тогда увела на кухню бабушку, чтобы она не смогла помешать отцу Борису приготовить тетю к Царствию Небесному.

Я рассказала бабушке про библейские пророчества, про седмины пророка Даниила. Она послушала и сказала: «Я в твоего Христа верю».

Приехал отец Алексей и полностью покрестил ее – «Аще не крещен», а я плакатным пером в нотной тетради с блестящим пружинным корешком написала ей черной тушью утренние и вечерние молитвы, покрупнее, и Евангелие от Марка, в такой же тетради, потому что

самое короткое – два дня переписывала. Она садилась в кресло и читала каждый день эти тетрадки от начала до конца, по три часа подряд. «В этом вся моя жизнь», – сказала она мне однажды. Каждые полгода приезжал отец Алексей, соборовал ее и причащал.

Через три года бабушку парализовало. Я в это время была в Ленинграде, как раз открывали часовню Ксении Блаженной, такое торжество было! Служил митрополит Алексей, будущий Патриарх, люди стояли по всему кладбищу, даже на могильных холмиках. Когда я вернулась домой, мама сразу повела меня к бабушке – бабушка лежала почти неживая. Ее наполовину парализовало. Рука свисала с кровати как плеть. Без сознания, уже пена изо рта идет, вот-вот конец. «Я вызвала «скорую», – рассказала мама, – а они взглянули на нее: да не трогайте вы старушку, дайте ей спокойно умереть – и уехали, только на пороге постояли, даже не подошли к ней». – «Мама! Я побегу за священником, надо ее пособоровать, может, удастся причастить». – «Делай все заочно, я тебя прошу». Я понимала, что моя тогда еще неверующая мама не хочет, чтобы соседи видели священника возле нашего дома, но тут мне пришлось поступить решительно. Мама обиделась, ушла на кухню и закрыла за собой дверь, а я побежала в церковь – там никого не было; поехала в соседнюю церковь, в Никольское, – там тоже никого. Мне подсказали, где живет священник, в Салтыковке. Он сразу согласился: «Езжайте домой, готовьте ее, я скоро приеду».

Когда пришел батюшка, мама сразу успокоилась: в обычном костюме – облачение сложено в дипломате, аккуратно подстрижен, с короткой профессорской бородкой. А он взглянул на бабушку: «Она вот-вот отойдет, нам, наверное, не успеть ее пособоровать, но попробуем, хотя бы три раза помажем, по крайности и это будет уже хорошо». Но мы все успели.

После соборования бабушка открыла глаза и пришла в себя. Говорить она не могла, и батюшка устроил ей немую исповедь, он задавал вопросы, а она отвечала ему, моргая глазами. Бабушка причастилась, и отец Александр, уходя, сказал: «Сделано все что только можно, вы теперь будьте спокойны за эту душу».

Мы с мамой обсуждали на кухне, как будем ее хоронить. «Я сейчас пойду в сберкассу, – говорила мама, – а ты посиди с бабушкой. Сегодня пятница, надо снять деньги на похороны и на поминки». Но не успела мама еще уйти, как раздались шаги. Бабушка стояла в дверях: «Есть хочу», – сказала она. Я думала, что сейчас придется вызывать «скорую» маме. А она откинулась на спинку стула: «Ну, птица Феникс».

«Вечно ты со своими чудесами», – раньше всегда говорила мне она. «Теперь и ты с чудесами», – отвечала я ей, когда она по привычке иногда повторяла эту свою фразу. С тех пор мама моя стала верующей и пришла в церковь.

Бабушка после того прожила два года. У нее прошли некоторые болезни, но несколько дней, проведенных в коме, дали о себя знать, и она впала в детство, была как незлобивый ребенок. Она сама умывалась, приходила на кухню обедать, но уже никого не узнавала, тихо сидела в кресле или на кровати. Молилась ли она? Не знаю. Раз в полгода отец Алексей по-прежнему приезжал соборовать ее и причащать.

«Катя, зачем Вы говорите, что Ваша бабушка в маразме? Она совершенно адекватный человек». – «Да, конечно». А что я могла ему еще сказать, если каждый раз, когда он приезжал к нам, как только мы открывали ему дверь, бабушка радостно спешила ему навстречу, обнимала его и целовала и всех нас сразу начинала узнавать. Отец Алексей соборовал ее и причащал и уходил, а минут через пятнадцать она уже сидела на своей кровати и не узнавала никого.

Я тогда жила в монастыре, но раз в месяц матушка Ксения отпускала меня из Коломны мыть бабушку. Мама со всем справлялась одна, но это было единственное, о чем она меня просила. Приезжала Наташа Лагутина, мы с трудом запикивали бабушку в ванную, и пока мыли ее, она громко взывала: «Соломон, Соломон, выньми меня отсюда!»

«Молись праведному Аврааму за своих родителей, чтобы Господь послал им чудеса, знамения, чтобы они стали верующими людьми». Вот они, чудеса эти, и появились в нашем доме.

Когда бабушка умерла, 40-й день пришелся на память апостола и евангелиста Марка – она ведь тысячу раз до болезни прочитала его Евангелие, вот он и забрал ее на небо.

С бабушкой мы при ее жизни успели договориться, что тот из нас, кто первый умрет, обязательно даст извещение, где он там, куда попал.

Прошло уже двадцать дней после бабушкиной смерти. Я читала каждый день по кафизме, а бабушка все не давала о себе знать. На двадцатый день я пришла в Троицкий монастырский храм, встала перед большой иконой «Достойно есть» – она была справа от Царских врат – и стала роптать: как же так, она же обещала... В эту же ночь я ее увидела. В моей комнате, дома, стоит гроб. Я сижу у гроба и читаю Псалтирь. И вдруг произношу такую молитву: «Господи, как ты Лазаря четверодневно воскресил, так и бабушку мою воскреси». Бабушка открывает глаза и пытается встать. «Мама! Мама! Бабушка воскресла!» Мы с мамой помогаем бабушке выбраться из гроба. Она, помолодевшая, оглядывается вокруг и спрашивает: «А где ж мне сесть-то?» Я смотрю – кровати, на которой она умерла, в комнате нет. «Ну, садись в мое кресло». Она садится, я пристраиваюсь у ее ног и спрашиваю: как ты, где ты, – и она рассказывает мне, что у них там такое небесное Дивеево, они живут в маленьких домиках и ходят в храм, привыкают к церкви. «Кто сам ходит, кого на лошадаках подвозят». – «А с кем ты там?» – «Я с Еленой и Клавдией. Она грубоватая, но читает хорошо». О чем я еще спрашивала ее, не помню. Только последний вопрос: «А во сколько у вас вечерняя служба начитается?» – «В семь часов».

Потом я узнала, что кровати тогда в моей комнате действительно уже не было, ее выбросили сразу после смерти бабушки. Елена – это, конечно, бабушкина дочка. А Клавдия? Да не мама ли это моей подруги Татьяны? Татьяна уже тогда жила в Дивеево и примерно за месяц-полтора до моей бабушки похоронила свою маму, Клавдию. Та тоже была почти невоцерковленной, редко ходила в храм, но зато постоянно читала дома, в Самаре, Псалтирь.

Бабушку отпевали в церкви с розовым фарфоровым морозовским иконостасом. Некрепленные родственники торжественно стояли вокруг гроба со свечками в руках, только отец отказался взять свечку и вышел из храма, так и ходил по дорожке, пока бабушку отпевали.

На поминках всем раздали по ложке кутьи. Отцу в кутье попался свечной огарок, и он показал его всем:

«Вот и свечка, она все-таки ко мне пришла».

Синайские камни

В Иерусалим не поеду. Я себя знаю, будет все, как у Гоголя в одном его рассказе, вот он так и ездил, те же самые впечатления: скорей-скорей, бегом-бегом, там листочек, там цветочек... Ни уму ни сердцу – пустая трата монастырских денег, которых нет. Те времена, когда каждый праздник – Троица, Преображение, Успение – сиял особым светом, прошли – интересно, неужели навсегда?

«Монаху праздник, что коню свадьба...» – окончательно определила, поставила последнюю точку Ира Тимофеева, с которой мы жили в одной келье еще в Коломне, – если бы я знала тогда, что меня ждет через несколько лет...

Когда-то давным-давно рассказали мне историю про одну девушку, для которой каждый праздник звучал всегда своей особой музыкой, и она, наивная, думала, что всю жизнь так и проживет, как все нормальные церковные люди. Пришло время, и ее постригли в мантию. И все изменилось. Стоит в храме, умом все понимает, а чувств на службе – никаких, и так день за днем. Прибежала к своему духовному отцу:

- Батюшка, я как чурбан стала.
- Это тебе подарок на постриг.
- А долго так будет?
- Может, и до конца.

Я теперь эту историю часто вспоминаю, особенно на ночных праздничных службах, когда все силы уходят на то, чтобы не заснуть на клиросе. Такое ликование кругом, а ты стоишь как американский наблюдатель. Накануне хотя бы на час прилечь не удастся, вот и радуешься тому, что народ радуется. Нет, конечно, бывает и по-другому, но как это редко теперь!

А тут еще прочитала я житие преподобного Давида Гареджийского, как он из Тбилиси пошел пешком на Святую Землю, шел два или три года, со многими трудами и опасностями, и вот наконец Иерусалим. А он у врат Иерусалимских остановился, поднял три камня, положил в свою котомку и, не заходя во Святой Град, развернулся и отправился домой, в Грузию, на гору свою Мтацминда. В это время патриарху Иерусалимскому – откровение во сне: пришел человек, поднял три камня, и унес всю благодать Гроба Господня. Он скорей послал к нему келейника: «Положи на место два камня, достаточно с тебя и одного».

Ну и какой мне Иерусалим? Вот так, как камень бесчувственный, – по земле, где Господь Крест нес? Я уж лучше дома книжку почитаю, а на вырученные деньги отправим туда кого-нибудь из сестер или сделаем крылечко. Так уже два раза мне предлагали поехать на Святую Землю, а я все отказывалась под разными предлогами. На третий раз ничего не вышло. Бычков торжественно вручил нам конверт: «Это вам с матушкой на Иерусалим! Здесь и на Синай хватит. И больше ни на что не тратьте».

Накануне отъезда Батюшка наш в Лавре, архимандрит Наум, нас благословил: «Обрати внимание, когда будешь на Гробе Господнем, на то, как исполняется все, о чем там просишь. Ну, ты еще ко мне зайдешь перед поездкой». Как это я еще зайду, если завтра утром самолет? Ну да ладно, я не в первый раз ничего не понимаю, а потом как-то все объясняется.

В Шереметьево стояли маленькие высокие столики, похожие на аналойчики, около каждого по молодому человеку из еврейской разведки, нас всех по одному подробно расспросили, кто мы такие, зачем едем, сколько у кого родственников за границей, не родственники ли мы друг другу, проверили содержимое чемоданов и сумок, и вся наша группа оказалась наконец по ту сторону барьера. Мне поставили в паспорте штамп, что я уже не в России, наши вещи отправили в самолет, а матушка Иулиания все стояла и стояла возле окошка, пока ей не сказали, что у нее неправильно оформлена виза, потому что она иностранка, и она никуда не полетит. Как это не полетит? Вся наша группа решила, что тогда никто не полетит, пока ее не пропустят.

«Что же нам, рейс отменять?» – и в Шереметьево началась паника. Ну хорошо, все полетят, а мы с матушкой вдвоем вернемся в Даниловский монастырь – пусть исправляют свои ошибки.

Мои вещи выгрузили из самолета, поставили в паспорте штамп, что я снова теперь в России, мы нашли в аэропорту тихое место – это оказался бизнес-центр – и стали в три часа ночи звонить Бычкову, который, проводив нас, только что приехал домой и лег спать. Зашли выпить кофе те самые молодые люди из Моссада, от аналойчиков: «А что вы здесь делаете? Мы же вас проверили и пропустили!»

Странное дело, но назавтра матушке за два часа выдали готовую визу, и на следующее утро мы, конечно, приехали в Лавру, к отцу Науму, и еще раз взяли благословение на дорогу.

Мы оказались в Иерусалиме через три дня и ступили на Святую Землю как раз в день моего рождения. Нашу группу поселили в Горненском монастыре, мы с матушкой, как опоздавшие, оказались не в монастырской гостинице, а в маленьком сестринском белом домике наверху.

И очень хорошо! Каждое утро нас кормили завтраком в монастырской трапезной (бедные сестры, наверное, всю ночь на кухне, полная трапезная паломников, и так каждый день!), мы садились в автобус, и наша мать Магдалина везла нас в очередное чудесное путешествие. Мы, наверное, везде побывали за эти дни. И даже несколько раз молились ночью на Гробе Господнем.

Всю неделю мы путешествовали в одном автобусе с группой православных цыган из Самары. Взрослые дети, они так трогательно опекали своего самарского батюшку, скупили ему для храма все, что только можно было там найти. «Срочно нужен носовой платок! У кого есть носовой платок? Дайте скорее! Мы вернем». Дали им платок. «Спасибо Вам! Батюшке жарко!» И ведь действительно вернули, постирали, погладили.

Из-под престола на Голгофе (ни за что не буду хоть здесь торопиться, в конце концов, католики – они кучкой стояли за нами – подождут) меня вытащили за шиворот. Кто-то из католиков. В Магдале мы окунулись в совершенно круглое родоное озеро, а потом нам рассказали, что недавно именно здесь убили отца Мефодия – острым камнем в висок. Тут еще остались специалисты по метанию камней – какой-то религиозный фанатик. В этом озере батюшку и нашли. Ждали-ждали к обеду, потом пошли искать и увидели, что он плавает на поверхности озера мертвый. А на сороковой день матери Магдалине приснился сон – видит она, что вода в озере словно стеклянная, и в ней отец Мефодий, она спрашивает: «Батюшка, почему так случилось?» А он отвечает ей: «Так надо было. А теперь смотри, что с вами будет». И вода в озере становится кровью, и из озера поднимается множество штыков.

В субботу позвонила моя детская подруга Лялька: «Да что мне этот шабат!» – она села в машину, заехала за мной в монастырь, и мы отправились в гости к ее маме. Как и почти все наши знакомые, которые бросили нормальную жизнь в Москве, хорошие квартиры и работы и уехали по глупости за границу, теперь она жила в жалкой съемной квартире без кухни, на непонятные деньги. Старалась продемонстрировать мне радость и благополучие, а я делала вид, что ничего не понимаю и все замечательно.

Прошла первая неделя нашего путешествия. Вифлеем с большим прорубленным квадратом – колодцем в полу, сквозь который виден еще один пол: царица Елена очень старалась и настелила драгоценные мозаичные полы с крестами, а потом в VI веке император Юстиниан не пожалел этих полов и почти на метр выше настелил новые, тоже очень красивые, но уже без крестов, чтобы Крест не попирался ногами («Стелите под ноги ковры с крестами, – как-то упрекнул нас отец Наум, – а потом жалуетесь, что благодати не имеете»). Мы тут же поменяли все ковры в храме – те, что с крестами, теперь висят в кельях по стенам (а что с ними еще делать?). И Генисаретское озеро, где я собирала камни для сестер, прямо в подрыснике забравшись поглубже в воду, а какие-то туристы на берегу подошли к матушке Иулиании и, глядя на меня, сказали: «Как она тщательно работает!» И подъем на 40-дневную гору под палящим

солнцем – я так и не дошла несколько метров до вершины, чуть не потеряла сознание. И Фавор с тремя кущами и Акафистой иконой Божией Матери – старенькая бумажная гравюра, ее выловили в море, в бутылке, она вся увешана маленькими серебряными и восковыми ногами, руками, ушами – кто какие исцеления получил. И Гефсиманский сад – мы оказались там в самый первый наш день в Иерусалиме, вся группа уже третий день путешествовала на автобусе вместе с цыганами из Самары, а для нас двоих – удивительно! – выделили в монастыре мать Сергию, в качестве экскурсовода, и мы втроем прошли пешком по городу, по Крестному пути, а в Гефсиманию попали как раз ко времени послеобеденного отдыха сестер – сиеста.

«Все закрыто. Приходите через два часа», – строго сказала нам сестра-вратарница. Мы стали объяснять, что у нас никак не получится еще раз тут оказаться, что дальше все по программе, что мы опоздали, что мы... все было бесполезно, и тут я сообразила – да ведь в этом монастыре живет одна из бывших коломенских сестер, которую я прекрасно помню. Спросила, не знает ли ее вратарница: «Так я же ее мама!» Тут, наконец, мы узнали друг друга – в коломенские времена мама эта сначала была совсем неверующей и приезжала в монастырь к дочери с надеждой увезти ее домой. А однажды она приехала неузнаваемая – она буквально бегала по монастырю, размахивая фотографиями, сделанными ею только что в Иерусалиме во время схождения Благодатного Огня, подбегала ко всем подряд: «Да как же можно оставаться неверующим после этого? Да как же можно не быть православным? Да я своими глазами видела!» Вот чем, оказывается, все закончилось. Про сестру было забыто, тут же нашлась ее дочь, и мы везде там побывали, о многом поговорили, чем нас только ни кормили, – а в совершенно пустом храме мы сколько угодно могли молиться у святых мощей великой княгини Елизаветы и мученицы Варвары и перед Смоленской иконой Пресвятой Богородицы, той самой, возле которой стоял на коленях в подземелье митрополит Илия в начале войны – просил о помиловании России.

А тот инженер из Киева с метлой и тряпкой в женском туалете на автобусной остановке в пустыни – зачем я его только спросила, откуда он и кем он был на Родине...

Самарский батюшка со своими подопечными улетел в Самару, а нам предстояла еще поездка на Синай.

На следующее утро наш автобус впервые не пришел, такого еще не бывало. Через два часа сестры нашли где-то старый арабский автобус, и мы отправились в путь. По дороге все исповедовались, проезжая мимо Мертвого моря, моря греха и слез, по очереди усаживаясь на переднее сиденье рядом с отцом Сильвестром из Питера («Я теперь никакого отпуска, кроме Иерусалима, себе не представляю, весь год в Питере коплю деньги на поездку, и сразу – сюда»), а в Эйлате, на границе, нас снова задержали надолго, и на этот раз им опять что-то не понравилось в документах матушки Иулиании («Сразу бы сказали, что здесь игумения Екатерининского монастыря, вот все и понятно – мы же на Синай едем», – пошутила наша экскурсовод). Оказалось, что нам не повезло, одновременно с нами на Синай отправились греки на семи автобусах, значит, будут проблемы с гостиницей, о которой нам по дороге рассказали, что там не пять звезд, а все пятьсот двадцать пять – она, можно сказать, под открытым небом. «А сколько автобусов обычно там бывает?» – «Обычно их совсем не бывает».

Но греческие автобусы куда-то делись, только один добрался до Синайского Екатерининского монастыря, мест в пустынной гостинице всем хватило, да и отдыхали мы всего только час – приехали очень поздно, к мощам великомученицы Екатерины опоздали – теперь только завтра, – и на двенадцать ночи был назначен подъем на гору Хорив. Купили у бедуинских детей камушки, на которых отпечатались листочки Неопалимой Купины, и расколотые пополам круглые камни с «жемчужиной» внутри – «слеза Моисея», такие только оттуда привозят.

Нас предупредили, что мы вместе с греками будем ночью на самой вершине, в храме, петь Литургию, то есть петь придется нам, а служить будут греческие священники – у них там

преимущественное право служения. «Не берите с собой лишней тяжести, никаких книг и нот, мать Иустина часто поднимается с паломниками – в церкви все есть».

Накануне в Горненском мне рассказали, как однажды сестры поднялись на гору Хорив петь Литургию, и оказалось, что ключи забыли внизу.

– А с нами такого не случится?

– Ну о чем Вы, ключи уже у греков.

И ночью, с фонариками, мы отправились в путь. За нами – шаг в шаг – шли верблюды, на всякий случай, но они никому не понадобились, и мои ноги почему-то почти не болели, правда, я все равно плелась последней, словно в утешение Людмиле Анатольевне – кто-то все-таки идет за ней, и всю дорогу молилась великомученице Екатерине, чтобы она помогла мне подняться. На пути иногда попадались бедуинские палатки, где продавали кофе и сникерсы и предлагали напрокат за «ван доллар» страшные серые шерстяные одеяла.

Мы всё торопились, чтобы догнать греков, но когда поднялись наверх, увидели, что их еще нет. А ключи-то у греков. Устроились среди камней и стали их ждать. Перечитали все молитвы и акафисты, под утро совсем замерзли и, смирившись с этими серыми одеялами, пропахшими дезинфекцией, сидели, закутавшись в них, сами как застывшие камни.

Через три часа появились греки. Оказывается, они долго ждали нас внизу, потом сообщили, что мы уже ушли, решили, что раз такое дело, Литургии не будет, и по дороге напился кофе у бедуинов. Наш отец Сильвестр возрадовался – теперь он будет служить, а греки расстроились. Они открыли, наконец, церковь, а мы не нашли там никаких нот, и никаких книг на русском языке тоже не нашли – всё только на греческом. Тогда мы великодушно предложили грекам поучаствовать в Богослужении – прочитать часы, Апостол и Евангелие. Они нам были благодарны, а я была очень благодарна отцу Даниилу Сарычеву (Царствие ему Небесное!) за то, что когда-то, на Шаболовке, в Ризоположенской церкви, он убирал иногда с клиросного аналоя все ноты, книги и шпаргалки: «Вы должны уметь спеть Литургию наизусть, мало ли что в жизни может случиться». Вот и пригодилось через десять лет. Пели мы с матушкой Иулианией вдвоем, потом подошли еще сестры из какого-то монастыря. Как пели, не помню, такое напряжение было – не дай Бог собьемся! Уже давно рассвело, первый луч солнца упал как раз в алтарное окно, и мы вышли из храма, когда было уже совсем светло. Какая красота вокруг! Горы, горы и ничего кроме гор, куда ни помотришь во все стороны до горизонта. «Служба была, как в Раю», – рассказывали паломники, а я от переживаний потом даже не могла вспомнить, какую же «Херувимскую» мы тогда все-таки спели...

«Нужно спешить, – сказали нам, – в десять утра унесут мощи великомученицы Екатерины, и вы можете не успеть приложиться». Поднимались мы по «новой», почти до конца ровной «верблюжьей» дороге, а спускались в монастырь по древним каменным ступеням – по той самой лестнице, где врата покаяния, где на пути колодец, рядом с которым жил Илия пророк, и старинная церковь Божией Матери Экономиссы... Но нужно было торопиться, и мы пролетали мимо всего этого, останавливаясь кое-где на несколько минут. И тут я увидела огромный камень с отпечатками листвы куста Неопалимой Купины, рядом еще такой же, а вот еще – да их тут много!

На привале я поделилась своим открытием с одной из паломниц, мы сфотографировали с ней эти большие расписные камни, и она подарила мне фотографию схождения Благодатного Огня, которую сделала в том же году на Пасху в Иерусалиме случайно, за доли секунды до того, как огонь загорелся. Толпа народа в храме снята сверху, и над каждой головой – огненный язык пламени, как венец, и видно, как эти огненные венцы спускаются с неба вереницами.

В Москве я показала фотографию Бычкову, и через два года, на Пасху, он уже и сам снимал в Иерусалимском храме схождение Благодатного Огня. Ему очень хотелось сделать такую же фотографию, запечатлеть этот невидимый человеческому глазу момент, и он снимал храм в таком же ракурсе: фотографировал воздух над головами людей («Что ты воздух снимаешь?» –

«Я знаю, что я снимаю!»), когда засверкали голубые вспышки – предвестники скорого появления Огня. Как бывший фотокорреспондент, он на всякий случай проверил, а не вспышки ли это от фотоаппаратов, и подержал ладонь возле колонны – ладонь не отбрасывала тени, колонна сама стала источником света.

У него в руках было семь пучков свечей, пламя ревело, когда они зажглись, он умывался этим огнем, и ни один волос на голове его не опалился.

Тогда я и поняла, почему Благодатный Огонь сходит всегда именно в Великую Субботу, а не в Светлое Воскресение. Там, за пределами нашей жизни, ничего нет, кроме Царствия Небесного и ада, значит, там, скорее всего, сила огня разделяется, там нет привычного земного огня, который светит и обжигает. В аду – пламень палящий и тьма крошечная, адский огонь. А в Раю – свет и райская прохлада. «Бог есть Свет, и нет в Нем никакой тьмы». Так вот в Великую Субботу, когда «ад опустел» – Господь вывел всех из ада, они, «людие, сидящие во тьме», вошли, наконец, во врата Рая и увидели впервые этот Огонь, Благодатный Огонь, который светит, но не обжигает. Вот и нисходит на Гроб Господень в память об этом из Рая, откуда и спускался за ними тогда в ад в Великую Субботу Христос, этот райский свет, знаменуя момент нашего спасения. В самое святое время года и на самом святом месте земли.

Во гробе плотски, во аде же с душею,
яко Бог,
в Раи же с разбойником,
и на Престоле был еси, Христе, со Отцем
и Духом,
вся исполняяй, Неописанный.

Праотцы, пророки, цари и священники, грешники и праведники, вот они все торжественно переступают порог Рая – и вспыхивают свечи на Гробе Господнем, и неопалюющее райское пламя мгновенно разлетается по всему Храму. Ад опустел.

Я еще наверху заметила, что вершина горы Хорив, на которой мы стоим, черная, словно обугленная. И соседние вершины такие же черные. А дальше – они уже коричневые, верблюжьи. И везде – в начале спуска с вершины – на сколах камней видно, что порода прогорела примерно на сантиметр, а потом – глубже – тот же цвет, что и у соседних гор. И вершины все кругом как оплавленные, совсем нет острых углов, говорят, что само название Синайских гор от слова «син» – зуб. «Так здесь же все горело! Здесь все горело и плавилось, пока он тут стоял и молился!» – «Как это горело, да это бедуины мусор жгут». – «Какой еще мусор! Все горело, и гора дымилась, и дым поднимался к небу».

«Уже не жив человек тот», – решили они там, внизу, и смастерили себе золотого тельца. Они-то как не сгорели!

А Моисей стоял в этом огне, от которого вершины обуглись, от которого горы кругом оплавилась, он в этом пламени стоял и молился! Так вот она, символика Боговоплощения, ничего более величественного, чем горы и небо, на земле нет. А здесь бесконечные горы и бесконечное небо, и это наше бесконечное видимое на земле – жалкая малость, пылинка по сравнению с Божественной безграничностью... Страшное пламя, от которого плавилась вершина на сотни километров кругом, не опалило Моисея, сорок дней среди этого огня стоявшего. И это огромное, великое пламя – малая искра в сравнении с Божественным Огнем, во утробу Пречистыя вселившимся...

Как они не сгорели? Так ведь и я не сгораю, когда причащаюсь...

Раньше я думала, что именно куст Неопалимой Купины, который горел и не сгорал, пока стоял в нем Моисей, являет символика Боговоплощения, а маленькие камни с отпечатками

листочков этого чудесного куста только там и обретаются, внизу, в монастыре Синайском, где растет этот куст. Нет, камни эти там повсюду – большие; и вся эта Синайская гряда – огромный отпечаток на земле – в камне – неместимого человеческого уму Неземного Божественного дела.

Может быть, это всем вокруг и так давным-давно было известно, не все ли равно, у меня словно глаза открылись, пришло новое понимание и Благовещения, и Рождества, и Искупления. И это мое понимание – такая же песчинка по сравнению с тем, что я пытаюсь понять.

Манной Небесной стали для меня синайские камни – хлеба небесного, жизни, живого прикосновения к вечности просила моя душа, а разве Отец Небесный даст камень просящему хлеба? Какое удивительное сплетение смыслов, явлений, событий...

«...Обрати внимание, как исполняется то, о чем просишь у Гроба Господня...»

Потом, однажды слушая службу праздника Покрова Пресвятой Богородицы, я нашла там одну стихирю, в которой это мое открытие уже давно было открыто:

Гора еси велика и преславна, паче горы Синайския, Богородице: она бо, не терпяще снития славы Божия во образе и сенех, огнем возгарашеся, и громи и молния тамо быша. Ты же, всего в Себе Божественнаго Огня сущи, Божия Слова во чреве неопально носила еси, манием носящего вся...

Через три дня мы прилетели домой, праздник кончился, и нужно было возвращаться в будни. А они были фронтовыми. Приближалась зима, в монастыре разруха, в храме холодно, в доме холодно, сестер мало, нет ни денег, ни машины, непосильные труды и скорби, скорби... Я совсем приуныла и отправилась в Москву – начальница моей сестры обещала сделать нам небольшое пожертвование. В Москве я сначала заехала в гости к своим знакомым, а у них был приготовлен подарок для нас с матушкой Иулианией; это оказалась икона преподобного Давида Гареджийского с иерусалимским камнем в руке. Так, чуть ли не в обнимку с этой иконой, я и отправилась к сестре на работу.

На душе бесприютно. Зашла по дороге в книжный магазин на Профсоюзной и увидела большой зеленый том Ильина – вот и хорошо, я давно собиралась с ним как следует познакомиться, в электричке и почитаем, книги меня всегда утешают.

В «Оптике», где работает моя сестра, было совсем пусто, и тут открылась дверь, вошла женщина, и мы сразу узнали друг друга – мы познакомились в Иерусалиме, в один из последних дней нашей поездки. Она там как-то «вычислила» меня: «Вы, наверное, крестная моей подруги Татьяны? А знаете, она на Вас в обиде – крестная, игуменья, и не помогла в беде». Пришлось мне в оставшиеся дни помолиться на Святой Земле о нашем примирении, а встретиться потом все не удавалось. Татьяна тогда редко приезжала в Москву из монастыря, где в то время жила, а я еще реже. «А где она сейчас?» – «Как раз приехала домой». Я едва уговорила мою иерусалимскую знакомую поехать со мной к моей крестнице: «Да она так обижена, наверное, и разговаривать с Вами не захочет».

А история была такая. Как-то раз звонят моей подруге Светлане ее студенты: «Светлана Викторовна! Вы не представляете, что сейчас показывали по телевизору: в центре Москвы пожар, возле Даниловского монастыря, сгорел целый подъезд – три этажа прогорели, два трупы, все страшное, черное; и вдруг на третьем этаже в сгоревшей квартире среди сплошного угля – комната, совершенно не тронутая огнем, пламя обожгло в комнате ровную полосу – сантиметров десять вокруг двери – и остановилось. В комнате – иконный угол, аналой с аналойником, полка со старинными книгами, рядом шкаф, в шкафу женское пальто и ботинки... Дом оцепили – милиция стоит, мы, говорят, сюда никого не пустим, пока не вернется хозяйка, – здесь живет святой человек!» А через час ей позвонила моя крестница Татьяна: «Светлана Викторовна, я теперь бомж. У меня все сгорело. Остались только иконы и книги – помните, я Вам рассказывала: мой батюшка, архимандрит Пимен, недавно привез из Лавры все тома

Иоанна Златоустого. Он мне тогда иконный угол устраивал, даже свой аналой благословил. Его же скоро в Иерусалим отправляют. И пальто осталось с ботинками, вот и все. Передайте моей крестной, что у меня 38-й размер обуви и 52-й – одежды».

Я как раз была тогда в очередной раз в гостях у наших знакомых – кстати, тех самых, что подарили мне потом икону преподобного Давида Гареджийского. Люди они очень добрые и отзывчивые. Они даже собакам монастырским привозили корм мешками, когда приезжали к нам с подарками для детей и сестер. «Не волнуйтесь, матушка, давайте телефон Вашей крестницы, мы все организуем, поможем всем приходом». Никогда такого не бывало, чтобы они забыли выполнить свое обещание, все просьбы наших детей исполнялись всегда до мелочей. А на этот раз, оказывается, забыли.

Мы приехали домой к моей иерусалимской знакомой, которая жила в соседнем доме с Татьяной, позвонили ей. «Я в ванной», – сказала она железным голосом. «Ничего, я подожду, пока ты высохнешь». Через полчаса она все-таки пришла, и вскоре от обиды не осталось и следа. У меня с собой как раз оказалось сто долларов, я ей радостно их отдала, а она радостно взяла: «А ведь я молилась, чтобы Господь мне столько и послал, – третий день как у меня совсем нет денег. Сказать тебе честно, тогда, после пожара, они мне совсем были не нужны, я ведь давно в Москве почти не бываю. Это я так обиделась, из принципа – ничего себе крестная-игумения! Ни копейки погорельцу! Как хорошо, что ты приехала, у меня словно камень с души свалился». А в моей сумке в это время лежала икона преподобного Давида с тем самым камнем на ладони. «Открою тебе тайну, – сказала она мне, – я ведь собираюсь на Пасху в Иерусалим, меня пригласили работать в Миссию. Уже и документы подала, скоро все должно быть готово».

На Пасху позвонила ее подруга, которая так чудесно нас примирила, поздравила меня и, кстати, сказала, что Татьяна никуда не уехала: в Даниловском монастыре потеряли все ее документы, даже паспорт, теперь все приходится делать заново. «Она совсем не расстроилась, – сказала мне ее подруга, – значит, говорит, это должен быть какой-то другой день».

Татьяна улетела на Святую Землю 20 мая. Я посмотрела в календарь – это был день памяти преподобного Давида Гареджийского.

Возвращаясь тогда на электричке из Москвы в Тверь, я достала Ильина и, как это бывает, открыла книгу на нужном месте. Наверное, в тот день я ничего другого и не смогла бы читать, это было о главном, но прекрасным поэтическим языком, удивительное соединение аскетике и музыкально выверенного слова:

«Человеку нужна способность сосредоточивать свое внимание, свою любовь, свою волю и свое воображение – не на том, чего не хватает, чего он лишен, но на том, что ему дано. ...В том, что тебе уже дано, сокрыто истинное богатство; проникни в него, овладей им и обходись без всего остального, что тебе не дано, ибо оно тебе не нужно... Во всех вещах мира есть измерение глубины».

И вот эти слова вдруг разом все перевернули в моей душе, – как это случилось? Это было явное действие Божественной благодати, и с того дня явилась и установилась в моем сердце благодарность Богу – ничего другого с тех пор не хочу и даже не представляю себе. Я приняла, наконец, то, что мне дал Господь, как самое лучшее, как Царский подарок, как единственно возможную для меня жизнь.

«Найти неизмеримость духовной глубины в том малом, чем мы уже владеем» – да разве это не тот камень, который поднял тогда с земли преподобный Давид Гареджийский у врат Иерусалима? Небесный иерусалимский камень, который молитвами отца моего духовного архимандрита Наума Господь мне подарил.

Летняя практика

«Ты не можешь взять к себе на летнюю практику омских студентов?»

Человек двадцать? Университетские девочки, теологический факультет. Парней берут в Звенигород. Подумай, а то их в Германию отправят». Звонок был от Владика – в прошлом году он по благословию отца Наума организовал в Омске православные богословские курсы, и некоторые студенты теологического факультета стали учиться заодно и там. Вот Владик и приготовил для них подарок – «Летний университет» – монастырские летние каникулы, уже и билеты купил в Москву всему факультету. И тут на горизонте появляется Германия со своими аккуратненькими кирхами: юным теологам пора расширять кругозор – знакомиться с еретиками. Надо было срочно действовать.

Ну, чем в Германию, уж лучше к нам. «Конечно, возьму, только я не представляю, где их поселить. У нас же ничего нет». – «А есть какой-нибудь недостроенный дом? Еще два месяца впереди, успеем». Недостроенный дом имелся – большой сдвоенный сруб, без крыши.

Нам повезло – к приезду омских студенток за два оставшихся месяца сделали железную крышу, поставили окна и двери, и десятого июля веселая девичья компания в одинаковых пестрых ситцевых юбках (сестры нашили к приезду студенток) рассыпалась по монастырю. Руководительница группы сразу засобиралась в Москву, уговаривать ее остаться было бесполезно: «Ничего не случится, они в надежных руках, а я скоро вернусь, через несколько дней». Она прихватила с собой одну из студенток, и они мгновенно исчезли, бесследно – ни московского адреса, ни телефона. Девочек разместили в новеньком деревянном доме. Три «богослова» оказались некрещеными, и мы поняли, какая практика им нужна, – посадили всех за парты и читали им лекции по несколько часов в день.

Через три дня закончился пост, и на Петра и Павла девочек покрестили, на следующий день они причастились, а еще на следующий день отправились на экскурсию по городу. Они вернулись вечерним катером и пошли на речку. А ко мне приехала в гости настоятельница Верхне-Волжского Ольгина монастыря игумения Анастасия. Я помнила ее по коломенским временам, когда она, тогда еще Татьяна, рассказывала нам после ужина, с немецким акцентом, о Патмосе и о Софийском женском монастыре и его настоятельнице – прозорливой старице Серафиме.

Владыка обнаружил мать Анастасию в Удомле, где по благословию какого-то греческого старца она устроила маленький монастырек, о существовании которого несколько лет никто не подозревал, пока мать Анастасия не развела там коров и не освоила сложнейшую технологию изготовления настоящего сыра.

Мы пили с ней чай и ели почти швейцарский удомельский сыр, и я в очередной раз уговаривала ее начинать стройку в монастыре, не дожидаясь никаких разрешений: «Россия – это не Германия, ты не рассчитывай ни на что, кроме неприятностей, а они в любом случае будут, построишь ты монастырь или не построишь. Так пусть уж лучше монастырь стоит, чем чистое поле после нас останется». Несгибаемая немецкая стратегическая логика не укладывалась в извилистые рамки тактической российской действительности. И через пять лет в Ольгинском монастыре была уже новая настоятельница. А тогда мы вышли за ворота, она села за руль, чтобы ехать в свою Удомлю, а я предложила ей на прощанье взглянуть на нашу чудесную речку. Она так похожа на Иордан! Мы подъехали к берегу, вышли из машины, и тут я услышала тихое, сдавленное – помогите!.. Я сразу все поняла и кинулась к реке.

Они стояли по грудь в воде, впятером, и растерянно смотрели по сторонам: «Она же только что здесь была, рядом с нами, и ее нет...» – «Быстро выбирайтесь на берег!» – закричала я и бросилась в воду. В мутной воде ничего нельзя было разглядеть, но я все ныряла и ныряла, надеясь на чудо, а они плакали на берегу. Кругом уже стояли все монастырские и деревенские

и наш священник в епитрахили. Как только начали служить молебен перед чудотворной Федоровской, девочка нашлась. Деревенские мужики выловили ее баграми в ста метрах ниже по течению, еще бы немного, и ее унесло бы в Волгу. Она лежала на берегу совсем как живая, и мы начали делать ей искусственное дыхание; прошел, наверное, час, «скорая» не приехала, и мы как-то устроились в матушкиной машине, уложили девочку и повезли в больницу. Вышел врач. «Мы привезли ее в реанимацию». Врач посмотрел на нас внимательно: «В морг вы ее привезли, понимаете? В морг».

Нашли ее документы – 20 лет, Татьяна, еврейка. День рождения в один день с моим, именины тоже, умерла в день рождения моей сестры – не забудешь, даже если захочешь.

Утром, совсем рано, вернулась из Москвы старшая группы с заплаканной студенткой; им уже все рассказали. Оказывается, студентка в четыре утра разбудила в Москве старшую – ей приснилась река («я таких снов еще никогда не видела!») в предзакатном тревожном освещении и множество детей на берегу. Они бегают по берегу, а с неба спускается икона Спасителя. «Вот такая», – она достала из сумочки маленький бумажный образок Спаса Нерукотворного. Он спускается с неба и смотрит вниз, на берег, и протягивает к реке руки – смотрит, как будто кого-то выбирает.

Все стало понятно: значит, выбрали. Покрестилась, причастилась и ушла на небо? Интересное дело, а мы? Плацдарм для спасения душ? Мы вообще как-то учитываемся? Омские мне потом рассказали, когда немного пришли в себя, что девочку эту, Татьяну, на самом деле брать на практику не собирались, боялись – она была непредсказуемая, вечно с ней что-нибудь происходило. Увлекалась рок-музыкой, но училась очень хорошо, и даже была редактором отдела поэзии в университетской многотиражке. Вот только в последнее время, перед поездкой, стала сочинять странные стихи – все больше о смерти.

Ее вписали в список уже на вокзале – она очень просилась на Оршу, и пожалели, взяли в последний момент. Ей сразу понравилось у нас: «Как я хочу здесь остаться!» Вот и осталась, слово сказано и услышано. Потом выяснилось, что мама искала ей жениха в омской синагоге среди состоятельных евреев и мечтала отправить дочку в Иерусалим. А ее выбрал Жених Небесный для Небесного Иерусалима.

Татьяна никогда не уезжала из Омска дальше, чем на дачу, это было ее первое большое путешествие. В поезде она стояла с подругой в тамбуре и смотрела в окно. «А ведь можно вот так уехать далеко-далеко, в совсем новые края, и начать там – с нуля – совсем новую жизнь...»

Татьяна улетела в Омск в цинковом гробу, этого потребовала мама, несмотря на все наши просьбы похоронить ее в монастыре. Потом она жалела о своем решении, но тогда и слышать ничего не хотела.

С тех пор эта черная – торфяная – речка перестала для меня существовать, и никто из монастырских не плавает там даже в самую страшную жару, а если кому очень нужно, я сразу возвращаю паспорт – в России много монастырей на берегу речек, плавайте там на здоровье.

Потом Владик мне рассказал, что всю ту ночь ему снился наш Батюшка, отец Наум. Владик просыпался несколько раз, засыпал и снова смотрел продолжение своего сна. Батюшка всю ночь разговаривал с ним, даже исповедовал его во сне, накрыл епитрахилью и прочитал разрешительную молитву. А утром раздался звонок: «И ты каменным голосом мне сказала, что вчера вечером Таня утонула в Орше».

После Таниной смерти почти все девочки сразу вернулись в Омск, осталось человек пять. Но несколько лет подряд приезжали к нам на каникулы омские студентки, только уже не на практику, а просто в гости. С каждым годом их было все меньше и меньше, а потом они совсем перестали к нам приезжать. Может, испугались – мы же их всех возили к Батюшке, и он многим из них хотел изменить жизнь, но никто из них на это не решился. Так красиво могло бы у них все сложиться! А что сейчас...

Еще мы узнали потом, что университет все-таки собирался отправить их тем летом в Германию, дети были уже на вокзале, их провожал декан факультета, отец одной из омских студенток. То ли ему показалось, что кто-то потерялся, и он стал очень переживать, то ли просто время его пришло – но он вдруг упал и сразу умер прямо на перроне, это был инфаркт. Говорят, он был хорошим человеком, студенты его очень любили. Раб Божий Александр. Поездку в Германию, конечно, отменили, и через две недели девочки все-таки приехали к нам.

Умер он 28 июня 2000 года, а у нас на Орше именно в этот день падал с неба в тот год удивительный град.

Матушка Иулиания приехала на Оршу в автобусе с финнами – странная какая-то группа, люди зажатые, настороженные, правда, они выслушали нас, но отказались от икон и уехали. Потом оказалось, что это были баптисты, которые скрывали, что они баптисты. Вот им и пришлось нас посетить по программе финских экскурсий. Не успела я закрыть за ними ворота, как в монастырь въехал черный джип с московскими номерами, и из машины вышел совершенно аристократического вида господин. Радостно улыбаясь, он шел прямо ко мне.

– Простите, пожалуйста, а кто Вы будете?

– Я вам подарки привез.

– От кого?

– От себя лично и от организации.

Мы познакомились и отправились пить чай.

«Найди провинциальный женский монастырь и помогай им, – посоветовал ему владыка Алексей, тогда еще наместник Новоспасского монастыря, – в Москве и без тебя обойдутся». Вот он и нашел нас в альбоме «Монастыри России».

Только мы расположились в трапезной, как хлынул ливень и тут же пошел град. Сначала градины были с горох, потом с фасоль, потом – с миндальный орех, запрыгали по земле. «Уберите Вашу машину скорее под арку, неизвестно, что еще с неба посыплется!»

Мать Елизавета принесла нам в ладонях пригоршню градин. Все одинаковые, в форме человеческого глаза, и каждая градина – со слезным канальчиком, зрачком и радужной оболочкой! Градины темные, прозрачные, зрачок темный, а радужка светлая, выпуклая, и на ней, как морозом по стеклу, все, что полагается, изображено. Мы насобирали тогда целую миску этих ледяных глаз, поставили в холодильник, но свет отключили – и все растаяло. На Орше всегда отключается свет после любого сильного дождя, или ветра, или снегопада – несколько километров алюминиевых проводов украли, срезали и сдали в «цветмет», а нам собрали фидер из того, что нашли, и теперь связанные куски проводов обрываются в любую непогоду.

Дождь кончился, и из детского дома – дети тогда жили сразу за оградой – пришла воспитательница за обедом для детей.

– А вы видели глаза? – спросили мы у нее.

– Нет, не видели.

– Так у вас что, града, что ли, не было?

– Был.

– А что же у вас тогда падало?

– А у нас падали вифлеемские звезды.

Мы поехали с нашим гостем в Тверь, а мать Елизавета в это время открыла одну из коробок, выгруженных из машины. В коробке оказались книги, самые разные, толстые и тонкие, большие и маленькие. Она взяла самую тоненькую книжечку в мягкой обложке. Это были келейные записки архимандрита Антония Медведева, наместника Троице-Сергиевой Лавры в XIX веке. Называлась книжка «Монастырские письма» и была выпущена под названием «Чудеса Божии в земле Русской». Мать Елизавета открыла ее на одной из последних страниц: «11 августа сего года (1865) я сидел в келье и писал заметки, как вдруг пошел дождь, сменив-

шийся сильным градом. Не бывало у нас никогда в Лавре столь сильного града. Первая градина размером с грецкий орех ударила в оконный переплет, я подумал, что кто-нибудь камень снизу бросил, но тут посыпались стекла... Смотритель больницы принес мне на ладони нерастаявшую градину. Это был осколок в виде треугольника размером чуть более полвершка, посередине же был глаз, столь отчетливо изображенный... Все изящно округлено и искусно опрарвлено, так, что можно было различить и ресницы, но поскольку она лежала на ладони, то вскоре растаяла».

Вот в то лето мы, наконец, и взялись за восстановление четверика XVI века. Нашли прекрасного московского архитектора, но он никак не соглашался начинать реставрационные работы в конце строительного сезона, «когда все люди уже снимают леса». Мы все-таки уговорили его рискнуть, он помолился: «Господи, дай знак», – и грянул гром среди ясного неба. Леса поставили только 3 августа, но какая же теплая была в тот год осень! К середине ноября все стены внутри собора были отштукатурены, и только тогда начались морозы.

На Радоницу как раз пришлась память святителя Варсонофия, который во времена Ивана Грозного, наверное, после опричников, освящал наш Вознесенский собор, и мы отслужили первую после разорения этого древнего храма Литургию. В промерзшем за зиму соборе было очень холодно, иподиакона дрожали в алтаре, и панихиду по почившей братии и сестрам мы пели уже на весеннем солнышке на улице.

А вскоре стали обновляться фрески. Первой это увидела матушка Иулиания: «Смотри, – сказала она мне, – у этого святителя появился зеленый рукав». Зеленый рукав принадлежал святителю Ионе, память которого совершается как раз 28 июня. Через месяц почти все оставшиеся в соборе фрески обновились.

Однажды приехали московские архитекторы: «Кто вам так замечательно фрески отреставрировал?» Мы рассказали, как все было; они, конечно, нам не поверили и прислали своего специалиста, но никаких признаков реставрации он не нашел.

Прошел год, и все в монастыре совершенно изменилось. Собрались новые сестры, для них построили дом, а главное – мы начали служить Литургию в древнем соборе ежедневно от Вознесения до Покрова, и совсем другое осознание жизни пришло: нас привили к древнему стволу, и веточка прижилась.

А недавно у нас на Орше поставили деревянную Никольскую часовню, напротив монастыря, посередине реки, – Николы на водах. Наши друзья часто приплывали к нам на катере, и им приходилось каждый раз прыгать в воду, чтобы вытянуть катер на берег. В конце концов это им надоело, и они решили построить пристань, настоящую пристань, на сваях, похожую на половину моста, – до середины Орши. «Давайте в конце пристани сделаем беседку», – предложили они нам. «А зачем нам беседка? Лучше часовню». Мы даже не успели ничего понять, как все уже было построено. Так быстро у нас еще ничего не появлялось. Стоишь на этой пристани – и кажется, что плывешь на корабле, пятнадцати минут достаточно, чтобы восстановиться после любых неприятностей. Я так и назвала эту пристань – реанимация. Мало того, новая пристань примирила меня с этой черной речкой, и монастырь наш как бы расширился, распространился в сторону реки, и река стала монастырской.

Никольскую часовню украсили настоящим золотым куполом, поставили крест, и леса были сняты как раз утром того дня, когда в монастырь пришел Крестный ход, – десятый по счету Крестный ход с истока Волги, который каждый год прибывает в наш монастырь с какой-нибудь святыней. И Почаевская икона у нас побывала, и чудотворная Федоровская из Костромы, и святитель Николай из Бари, и преподобный Нил Столобенский. А на этот раз Крестный ход приплыл к нам с частицей святых мощей мученицы Татианы. И только в тот момент, когда корабль пришвартовался к нашей новой пристани и удивленные батюшки понесли в обитель ковчег с мощами, я поняла, почему появилась в монастыре эта пристань и

эта деревянная часовня на пристани – именно на том месте, где стояли тогда по грудь в воде омские девочки и искали Татьяну.

А Татьяна уже уплывала в вечность.

Карантин

В конце концов всем старикам в области раздали по целлофановому пакету с лекарствами. В каждом пакете была упаковка анальгина, флакон с зеленой и еще какое-то добро, незаменимое в любой домашней аптечке. Призрак нищеты.

Почему-то эти выборы меня впервые в жизни заинтересовали. То ли старше стала, то ли все вокруг уже дошло до такого края, что еще немного, и все. В общем-то, так и получилось. Теперь уже не осталось ничего, кроме Церкви, ни заводов – газет – пароходов, ни их владельцев, – впрочем, нет, с газетами как раз все в порядке. С «землей – крестьянам» тоже ничего не вышло, все продали за гроши кому попало. Хорошо, что до этого не дожил мой отец, – он пять лет воевал за эту землю. Деревни больше нет. Старики вымерли, молодые ушли в охранники или спились. Остались дачные поселки, где никто по-настоящему не работает на земле. Коров тоже нет. Никого нет. Сено теперь не косят, а жгут на корню, заодно сгорает все, что попадется огню на пути – машины, дома, леса. Наверное, это полная разруха. Так что скоро и еды не будет – откуда она возьмется? Разве что из Китая? Лягушки, наверное. И корейская, политая дерьмом, капуста.

Тогда еще в стране что-то оставалось, но интуитивно мы чувствовали – сейчас все покажется лавиной. Вот в таком настроении мы и ехали на Оршу через неделю после престольного праздника наших монастырей, как обычно, из монастыря в монастырь. Однажды нашего водителя остановил гаишник: «Ты откуда?» – «Из монастыря». – «А куда?» – «В монастырь». Вот так и мы. Я бы никогда и не стала интересоваться этим бессмысленным процессом, если бы наш монастырь не стал тогда объектом пристального внимания всех кандидатов на власть в области. Один из них даже пообещал нам тогда иконостас, но потом, конечно, ни разу об этом не вспомнил. Они приезжали с предупреждением и без предупреждения, с подарками и без подарков, с телекамерами и «инкогнито в дрезине» (когда-то в старом номере журнала «Юность» я прочитала очень забавную дневниковую ленинскую запись – «я сам лично инкогнито в дрезине проверил состояние железных дорог»). Тогда тоже было много всего смешного.

В ближайшие дни мы ждали Васильева. Его мы действительно ждали – страшная история с «Норд-Остом» прославила его как человека отважного и благородного. Нас предупредили, что с Васильевым будет человек пятнадцать, значит, нужно срочно обустраивать новый гостевой дом – там только что провели электричество и даже сделали систему отопления от стального котла ДОН-2. ДОН-2 привезли в двух экземплярах. На всякий случай. Разобрали по винтику, собрали, и они заработали. «Советское – это отличное. От хорошего. Запомни первую заповедь дизайнера», – услышала я от своего начальника, когда впервые оказалась на своей новой работе. Как же мне сейчас больно это вспоминать. Мы тогда радовались какой-нибудь иностранной авторучке или шоколадке – наверное, так же, как теперь радуемся, когда находим последние отечественные прочные вещи вместо китайских подделок. И настоящие, наши продукты вместо отравленных зарубежных. И наши старые мультфильмы вместо недобрых диснеевских...

Я уже три года жила в монастыре, когда Советский Союз разорвали на части и обескровили. Мы тогда не сразу поняли, что с нами будет. Ну даже если бы поняли, разве от нас что-нибудь зависело? Меня отпустили домой как раз на Преображение девяносто первого года. С вокзала я позвонила сестре. «А ты не могла выбрать другой день для приезда?» В этот день танки ГКЧП шли по улице Горького.

Мы поехали в мебельный магазин, купили из самого дешевого самое приличное, и через два дня гостевой дом был совсем обжит – можно принимать Васильева, да кого угодно теперь можно здесь принимать.

Васильев так и не приехал, но зато благодаря ему в домике теперь была красота.

В тот день мы ехали с Иулианией на Оршу, и вдруг раздался звонок – это была Валентина Никаноровна: «Мне очень плохо, возьмите меня с собой. А можно мне будет у вас остаться ночевать?». Чтобы Валентина Никаноровна унывала – такого еще не было. Она в советское-то время водила детей на Пасху крестным ходом вокруг детского садика, где была директором, никого не боялась.

А однажды трое детей у нее в детском саду опрокинули на себя пианино. «Матерь Божия, помоги!» – кричала она, пока бежала в комнату, где прижатые по груди клавиатурой лежали под инструментом задавленные дети. Пианино подняли, дети встали и пошли, и на груди у них не то что вмятины, и следа никакого не осталось.

А прорыв водопровода ночью в детском саду? Все стали молиться вместе с детьми, и старая трухлявая труба к утру – к приходу сантехника – превратилась в новую...

Пятьдесят лет в те страшные годы, несмотря ни на что, хранили они в своем домике в Выдропужске чудотворную Смоленскую икону, которую ее дед, Стефан, выкупил за телегу дров, спас от уничтожения.

– Что случилось?

– Избили до полусмерти мою племянницу на улице Горького среди бела дня. И никто не помог.

Мы посадили ее в машину и уже выезжали из города, как позвонили тверские сестры: «Матушки, не торопитесь возвращаться в Тверь, поживите на Орше дня три». – «А почему?» – «У нас сибирская язва». – «Ну что же, – сказала я Иулиании, – одеваемся в чистое, причащаемся, и аминь. Все монастыри спасают свои города, а мы угробили Тверь». – «Почему? – спросила она. – Что это такое, сибирская язва? Я не знаю, как это по-фински».

Так вот, неделю назад, 7 декабря – на престольный праздник – как раз в день выборов, в Тверской Екатерининский монастырь привезли паломницу – семидесятилетнюю Терезу с Западной Украины. Родные еле уговорили матушку взять их родственницу хоть на время: «У нас тесно, жить негде. Помогите, выручите». Неделю она прожила в монастыре, работала на кухне, чистила картошку. А тут вдруг заболела.

В этот день – а было воскресенье – Ксения, наш монастырский врач, собиралась на Оршу. В только что обустроенном домике на втором этаже лежала с пневмонией моя подруга Светлана. Муж ее, Алексей Иванович, тогда прямо с Орши ездил в Лавру читать в Академии свои лекции. Вот Ксения и торопилась на Оршу к Светлане. А тверские сестры попросили ее по дороге заглянуть к ним, посмотреть больную ногу новой паломницы. Ксения только взглянула на эту ногу – нога красная, язва черная, и вокруг характерные «детки» – маленькие язвочки, это ни с чем не спутаешь. Да еще без температуры. Все признаки налицо – сибирская язва.

Она привезла Терезу в больницу. Дежурный врач инфекционного отделения только взглянул на эту ногу и заорал: «Мы тебя в тюрьму посадим! Как ты могла везти ее в обычной машине и без противочумного костюма!» Собрали всех врачей, вызвали профессоров, диагноз был один.

Мы оказались на Орше «под домашним арестом», а в это время в городе всех подняли на ноги, монастырь оцепили, рабочих свозили в больницы по месту жительства, приехала спецбригада в противочумных костюмах и выдраила весь тверской монастырь.

Когда мы еще ехали в машине, размышляя, как будем умирать, мы почти одновременно с Иулианией подумали об одном и том же. Мы вспомнили, как в Иерусалиме, в Горненском монастыре, нам перед отъездом вынесли из алтаря Казанскую икону Божией Матери; сейчас эта икона всегда в храме, а тогда ее выносили из алтаря только на благословение отъезжающим паломникам. И там сестры рассказали нам историю этой иконы.

После революции, когда наш Горненский монастырь оказался никому не нужным: ни России, ни Турции, монахини разошлись по домам, кому было куда идти, а те, что остались, чтобы не умереть с голоду, вышли на дорогу тесать известняк, из которого в Иерусалиме все построено. И подхватили там холеру. Так вот, турецкие власти, чтобы себя обезопасить, побросали тела умерших сестер в ямы с негашеной известью, а чтобы еще надежнее себя обезопасить, они кидали туда и больных еще живых сестер. Тогда все оставшиеся собрались в церковь и перед этой Казанской иконой стали читать акафист за акафистом, один, второй, десятый. После двенадцатого акафиста икона поднялась в воздух, обошла по кругу весь храм, и от нее был голос: «Монастырь будет спасен». Все больные тут же выздоровели, и никто больше не заболел.

А тут как раз только что вернулась из Иерусалима мать Серафима и привезла оттуда две большие бумажные копии этой иконы, нам и в Тверь. «Будем читать в каждом монастыре по двенадцать акафистов», – решили мы, приехали на Оршу, ничего не сказали сестрам, чтобы не было паники, и встали воскресным вечером на молитву перед этой иконой, втроем, с Валентиной Никаноровной.

Дом новый, щели внизу еще не заделаны – наверху, у Светланы, даже жарко, а у нас страшно дует по ногам. Но стоило нам только прочесть первый акафист, как все почувствовали тепло. «Мать Божия посетила», – сказала Валентина Никаноровна. А после двенадцатого акафиста опять стало холодно. Читали с восьми вечера до трех утра. И Светлана там, наверху, еще один акафист прочитала, получилось всего двадцать пять.

Утром пришла мать Сергия из коровника – корова отелилась раньше срока и родила двух мертвых телят. Она стоит в слезах и смотрит на меня с удивлением – чему это я так обрадовалась; а я подумала, что враг уже взял свой процент, ну, хоть телят, тем более что болезнь эта особенно животных губит. Тогда и появилась надежда, что, наверное, все обойдется.

Позвонила Марина, которая ничего о сибирской язве нашей не знала: «А мне вчера ночью приснился наш Батюшка, отец Наум. Он сначала молился у нас дома на кухне, а потом вместе с тверскими сестрами Крестным ходом по воздуху обошел всю Тверь, и они кропили город на все стороны крещенской водой».

Тем временем в больнице сделали посев в чашке Петри, и врачи сказали, что во вторник все будет окончательно ясно, хотя у них уже не было никаких сомнений, но полагается – значит, полагается.

В понедельник нам позвонили и сказали, что в чашке пока ничего не выросло, а должно было бы хоть что-нибудь уже появиться. И что язва на ноге у Терезы почему-то стала совершенно другой, не черной, а красной, «детки» исчезли, поднялась температура – странное дело. А во вторник нас выпустили из затвора и сняли карантин в Екатерининском монастыре, диагноз отменили, Тереза вернулась из больницы, рассчитывая еще пожить в обители, но ее тут же отправили во Львов.

Утром прибежала Маша Беляшова: «Мне сегодня Батюшка отец Наум приснился! Он ходил по всему нашему монастырю, а потом пришел на кухню, выдвинул все ящики и всё везде отмывал». Я понимаю, кому другому приснился бы, а то Маше, которая вообще была не в курсе дела – и этого, с сибирской язвой, и вообще монашеского. Скоро пришлось нам с ней, к сожалению, расстаться – ничего духовного ей привить мы так и не смогли.

Матушка Иулиания в тот день вернулась в свой чисто вымытый монастырь. И сразу, конечно, пошла в храм. В этом монастыре много старинных икон Пресвятой Богородицы, но особенно много именно Казанских. И тут она вдруг заметила, что по большой Казанской иконе Божией Матери текут две широкие маслянистые струи, Казанская икона замироточила

к матушкиному возвращению; эта икона совсем недавно появилась в монастыре, и перед ней еще не было подсвечника, и даже лампадки тогда еще не было.

Горит мое сердце

Аккуратные деревянные лавки выгрузили возле церкви: «Это вам в подарок от отца Александра Казанцева!» – так они потом и прижились в монастыре, столько лет прошло. «Ну, значит, простил – можно звонить».

Отца Александра все знали, он обижался мгновенно и надолго, а потом вдруг так же мгновенно отходил и забывал обиду навсегда. Тогда он на нас обиделся за подрясник. Шить в монастыре было решительно некому, в обители еще почти не было сестер, и мы предложили ему оплатить работу знакомой епархиальной швеи. Он разобиделся и ушел: «Я этого не понимаю». А теперь можно было уже ему звонить. Он служил тогда, кажется, в Вышнем Волочке, а потом вдруг как-то оказался монастырским священником в Бежецке у матушки Антонии.

Мы были знакомы с ним очень давно, еще в московские времена. Он тогда был Сан Санычем и работал сторожем в одной конторе с моей лучшей подругой Светланой, там он также мгновенно на все обижался, хлопал дверью и уходил, но она не обращала на это никакого внимания и, когда приближалось время ужина, звонила ему по внутреннему телефону:

– Сан Саныч! – тишина.

– Сан Саныч!

– А? – без всяких интонаций отзывался он, втайне надеясь на ужин.

– Приходи, Сан Саныч.

– А? Да? Ага. Сейчас приду.

Он приходил уже как ни в чем не бывало и садился пить чай. «Как ты ему только все это прощаешь?» – возмущались бабушки-сторожа. «Да разве можно на него обижаться? Я же его знаю».

Ночью у нее дома раздавался звонок. Часов в двенадцать. Это был Сан Саныч: «Как же я хочу Богу послужить! Горит мое сердце! Понимаешь? Горит мое сердце!» Так они на работе за чаем и беседовали в огромном, пустом по ночам стеклянном здании института на улице Радио.

Сан Саныч когда-то был директором комиссионного магазина, потом стал верующим и ушел в сторожа. Жена не выдержала ничего этого и уехала от него навсегда.

Прошло несколько лет, и мы узнали, что его рукоположили в Тверской епархии, а вскоре и мы там тоже оказались – открылись наши монастыри.

Матушка Антония заболела, ее парализовало, перед смертью ее постригли в схиму с именем Амвросия, и она умерла 22 декабря, на «Нечаянную Радость», мы похоронили ее, а на 40-й день собрались в Бежецке почтить ее память. Отслужили Литургию, панихиду, закончилась поминальная трапеза, почти все уже разъехались по домам, а мы все сидели с Сан Санычем – отцом Александром в маленькой комнатке на первом этаже старого монастырского корпуса, вспоминали нашу московскую молодость, и тут раздался звонок архиерея: «Я еду в Бежецк из Красного Холма, если кто остался, дождитесь меня». Делать было нечего, мы остались ждать Владыку.

– А хотите я вам расскажу, как я преподобного Сергия видел? – вдруг спросил нас отец Александр. – Приехали мы с женой в Лавру, молодые, красивые, погуляли по монастырю и зашли в часовню, где источник – вода из креста. Купил я три свечи, две уже поставил к иконам и третью собрался ставить, Преподобному, уже руку занес со свечкой над подсвечником, и вдруг передумал – поставлю к иконе, что рядом. И тут чья-то рука ложится на мою руку, у локтя, властно так. И перемещает ее к подсвечнику, на который я только что собирался ставить свечу. А в часовне-то ведь кроме нас с женой и монаха за ящиком, где свечи и фляжки для воды продают, никого не было. Оглянулся – он стоит. За руку меня держит и глядит мне в глаза. Молодой, волосы светлые, под горшок пострижены, рубаха старинная, косоворотка, под-

поясанная кушаком, а глаза у него! А в глазах у него – все небо! «Бежим отсюда!» – крикнула жена. Как мы бежали! Схватившись за руки. Она каблучки переломала, добежали до машины, сидим, курим, мы, наверное, три пачки сигарет тогда выкурили. Да... А ведь я его еще раз потом видел. Рассказать? Приезжаю я в Лавру. Я только что стал священником, иду в Троицкий собор, к Преподобному. А навстречу мне какая-то тетка: «Батюшка, дай 10 рублей! Дай ради Христа». Мне, конечно, жалко денег-то стало и не было десятков – одни крупные, я ей и говорю: «Ты подожди, я разменяю, куплю свечи, пойду обратно и дам тебе десятку». А сам надеюсь, что она уйдет, не будет ждать. Выхожу – смотрю, стоит! Стоит она и меня ждет! Пришлось дать ей деньги-то обещанные. А она ими стала как флагом размахивать: «Мне батюшка десятку дал! Смотрите! Мне сам батюшка десятку дал!» Ну, я иду довольный, думаю, как хорошо, что не пожалел, порадовал человека. Вышел уже из Лавры и – в подземный переход. Вижу – кто-то стоит впереди, вдалеке, наверное, опять нищий, будет денег просить. Я от него подальше, подальше, обхожу, чтобы он на меня внимания не обратил, денег не попросил, и вижу боковым зрением – да это же он, Преподобный! Я его сразу узнал! Кинулся к нему, а он и исчез. А ведь у меня к нему вопрос был, самый главный вопрос.

– Ну, знаешь, отец Александр, ты это, того, ты неправ, ты, может, в прелести, отец Александр, видения – они к покаянию бывают, а тут что, – сказал отец Виктор, поудобнее устраиваясь в кресле, – было ясно, что Владыку еще ждать и ждать.

– А мне разве не к покаянию? Разве мне не к покаянию? Я и гордость свою увидел, и глупость свою увидел, и жадность увидел – мне разве не покаянию?

Он помолчал, видно, думал, говорить дальше или не говорить, а потом решился:

– А я ведь его еще раз видел.

– Расскажите, батюшка, если можно.

– Вижу я сон: стою в Лавре, в Троицком соборе на полунощнице, все подходят к мошам, и я подхожу. Приложился, а он встает из гроба и стоит передо мной – ждет, пока я ему свой вопрос задам. Я и спросил, принимать ли мне монашеский постриг. Он еще постоял молча, а потом перекрестил меня большим крестом с ног до головы. А вот сейчас, – сказал отец Александр, – Владыка едет, увидит меня и будет спрашивать, не передумал ли я, – я ведь ему прошение на постриг написал! Что мне ему сказать?

– Да о чем ты говоришь, после такого благословения смотри не вздумай отказаться, решил так решил.

Владыка, наконец, приехал, собрали вторую трапезу, ужин уже подходил к концу, как вдруг он словно только что увидел отца Александра – нас было-то за столом человек семь:

– Отец Александр, я твое заявление прочитал. Ты хорошо подумал, отец Александр? Чего тебе не хватает? Служишь в женском монастыре, на всем готовом, как сыр в масле катаешься. Ведь пострижем тебя, отправим в монастырь или на приход, зарплата будет маленькая, трудов много, подумай хорошо, отец Александр, не торопись. Ну, что ты решил?

Сан Саныч растерянно взглянул на меня, а я на него так посмотрела!

– Я решил, Владыка, я все решил.

– Ну что же, сдашь в епархию свой протоиерейский крест, отец Александр.

Прошло совсем немного времени, как вдруг мы узнали, что он умер, неожиданно умер в Москве, и об этом не сразу стало известно, он несколько дней пролежал мертвый, а когда взломали дверь, увидели, что он лежит на кровати в совершенно пустой квартире – у него ведь было много старинных икон, разных антикварных вещей: все украли, все вынесли, обобрали до нитки, пока он там лежал. Только одно возле него и осталось – аккуратно сложенное приготовленное на постриг монашеское облачение. Так его и положили ему в гроб.

Прошел, наверное, год, и одна студентка богословских курсов в Твери, которая совсем не знала о нашем давнем знакомстве с отцом Александром, решила мне ни с того ни с сего рассказать свой сон: «Вижу я тут матушку Амвросию, она идет такая радостная, а рядом с ней

– отец Александр Казанцев, помните его? И что странно – в монашеском облачении, ничего не понимаю, он же был протоиерей?»

Вагон

Нужно подумать, как побыстрее добраться до Москвы. На электричке от Ярославля часа четыре, а если поездом? Это, конечно, подороже, и тогда ни завтрака, ни обеда. Ну ничего, переживем, зато буду ехать по-человечески, без шума и толкотни, два часа – и дома.

Я купила билет на ближайший поезд, вагон был почти пустой. Устроилась возле окна, открыла книжку – вот и закончилось мое путешествие в Тутаев. И не только в Тутаев. Мне давно хотелось узнать, как наш Батюшка проводит свой отпуск, и эта моя поездка оказалась чудесным Батюшкиным подарком. Отец Вячеслав вдруг сам мне предложил: «Хочешь, я проведу тебя по местам, где мы только что были с отцом Наумом?» И мы поехали с ним в старинный разрушенный Толгский монастырь:

– В этой кедровой роще Батюшка сказал: «Здесь – спасение. Давай бумагу, пишем письмо в администрацию». Батюшка дня три этим занимался, так что скоро первый монастырь, наверное, откроется, представляешь? Дожили. Вот на эту колокольню он забирался, на самый верх. Мне страшно было, а ему хоть бы что. А теперь поедem в Ярославль, на Тугову гору. Батюшка очень любит это место.

В доме у священника, рядом с храмом на Туговой горе, мне сразу показали диванчик:

– А здесь только что Батюшка ночевал. В старинном Тутаевском Воскресенском соборе я семь раз – как полагается – проползла под огромной иконой Спасителя по вытертым до блеска доскам. Икона эта чудом сохранилась – говорят, из нее сделали мост и по ней ездили телеги, она несколько десятилетий так и пролежала – ликом к речке, пока кто-то не опомнился, не прибежал в храм; икону спасли, но она совсем потемнела, и древний строгий лик не сразу разглядишь, говорят, он не всем открывается.

Батюшка тогда превратил Тутаев в православный город – повсюду жили его чада в маленьких деревянных домиках. Ходили в храм на службу, работали – кто в больнице, кто в роддоме, косили траву, доили коз. «Батюшка, ну сколько же я должна еще мучиться! Все люди как люди, живут в нормальных квартирах с водой и хоть какими-то удобствами, а я только и чиню эту развалюху, и сено приходится косить чуть ли не до снега, таскать на себе, никакого отдыха», – плакали у него в келье тутаевские сестры и уходили от него всегда с обновленным сердцем, готовые к скорбям, как солдаты к бою. А Батюшка потом говорил: «Весь мир катится в ад, а мои девочки в слезах, трудами и молитвами, как по лесенке, на небо забираются».

Поезд был какой-то чудной, он больше стоял, чем ехал, перегоны совсем короткие, остановки длинные, и когда, наконец, появился проводник, я у него спросила, долго ли мы будем так ползти, он зевнул и, к моему ужасу, произнес: «Так поезд-то ведь почтовый, так и будем у каждого столба останавливаться».

Ну ладно, зато нет никого. Но не тут-то было. Через час на одной из остановок в вагон молча втекла рота солдат и так же молча расползлась по вагону, каждый с автоматом, с шинелью за спиной, они бесшумно укладывались на верхние и на самые верхние – третьи полки. Стояла гробовая тишина. Они так же молча достали кортики, и каждый открыл по банке сайры. Сюр какой-то! И тут кто-то из них включил магнитофон и запел Бюль-Бюль оглы своим восточным голосом. Это уже хуже, но придется потерпеть, кассета, наверное, минут на сорок. Но он все пел и пел, и они снова и снова ставили одну и ту же кассету, и когда мое терпение иссякло, я отправилась на поиски первоисточника.

Магнитофон обнаружился через одно купе: «Простите ради Бога, но не могли бы вы его уже выключить?» Человек на верхней полке в зеленой форме, не глядя на меня, сквозь зубы процедил: «Ты – не по-ни-ма-ешь, как долго мы ни-че-го это-го не слы-шали». Стало ясно, что

слушать это придется до Москвы. Они все так же молчали, казалось, что вагон по-прежнему пустой, только один Бюль-Бюль оглы все пел и пел одни и те же песни. Откуда возвращались эти солдаты? Что за тайна их связывала? Нет, это не война. Это какое-то тяжелое подневольное дело, о котором не говорят и после которого только молчат. Может, где-то в лагере или в тюрьме был бунт или побег...

Так прошел еще час. Или два. Пока на одной из остановок в вагон не запустили множество людей. Их было намного больше, чем мест в вагоне, и целая блатная компания оказалась в нашем купе; меня притиснули к окну – рядом со мной уместилось три человека и четыре напротив. На столике, возле окна, перед моим носом на мятой газете уже стояла бутылка водки, лежал зеленый лук с корнями, сало, мужики резали большим ножом хлеб и переговаривались между собой короткими фразами или, точнее, перекидывались несколькими словами, из которых состояли любые фразы, то есть они говорили исключительно матом, и вся их речь состояла только из этих слов с междометиями. С ними еще была крашенная девица, она все время подхихикивала, как будто боялась их. Тут они заметили меня. «Водки хочешь?» – спросили они на своем языке. Я помотала головой. «Хлеба хочешь? Сала хочешь?» Я молча заплакала, уткнувшись носом в оконное стекло. Нужно было срочно что-то делать – а что? Читать уже невозможно, выйти нельзя, да и куда – мы еще и полпути до Москвы не проехали, в электричку не пересядешь – нет денег на билет. Меня в буквальном смысле слова загнали в угол. И тут я вспомнила наконец об Иисусовой молитве: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешную!»...

Я все так же сидела, зажата в угол, притертая к стенке, слезы катились по щекам, никто уже не обращал на меня внимания. Все, происходящее вокруг, перестало меня касаться. Бюль-Бюль оглы по-прежнему пел, мужики пили водку, закусывали луком и матерились, солдаты спали, как тени, а я уже ничего не видела и не слышала – то есть видела и слышала, но как через толстое стекло, как будто меня поместили в стеклянный футляр и я там, внутри, одна, а они все – за стеной, за стеклом: чужая жизнь, иностранный язык, неинформативный шум, какая мне разница, это уже ко мне не относится. Так вот оно, то, о чем я раньше только читала, – вот он, огненный меч или, лучше сказать, щит Иисусовой молитвы!

Я много раз слышала – не дает Господь человеку ничего сверх сил, но думала иногда, что есть нечто, мои силы превышающее, – у меня был враг, еще до крещения, который лишал меня возможности внутренней жизни, возможности творчества; это был телевизор, он гремел на всю квартиру, вламывался в мою жизнь и превращал меня в мертвую оболочку. Но если нельзя было выключить телевизор, можно было что-то придумать, как-то объяснить родителям свой уход из дома – я сняла себе квартиру, где ничего не было, не только телевизора. На это да на книги уходила вся моя зарплата, оставалось только на пшеничную кашу. И к маминим приездам я занимала денег, покупала всего понемногу. Это называлось «иллюзия изобилия». Мама заглядывала в холодильник и спокойно уезжала домой. Но зато у меня была свобода. Так вот, я иногда думала: а если случится так, что отнимут и свободу? «От тюрьмы и от сумы не зарекайся». И включают там радио с какой-нибудь дикой музыкой, надолго включают, на день, на ночь, радио, которое нельзя выключить, – как я буду жить? Я ведь не смогу! Не «сверх сил»? Да я сойду с ума! Не сойду; теперь я поняла, что безысходности не бывает, и очень многое, очень страшное можно, наверное, все-таки, с Божией помощью, пережить и перетерпеть.

Не помню, как мы доехали до Москвы, мне это было уже не важно, ведь я поняла, что Господь действительно показал мне тогда, как Батюшка провел тем летом свой отпуск.

Таисия

Батюшка вышел к народу, а я осталась стоять в его маленькой старой келье – каменном мешке, на самом-то деле сырой и холодной. Через много лет, когда Батюшка уже давно принимал народ наверху в теплом деревянном домике, заботливо выстроенном для него и для всех нас игуменией Ксенией, он как-то сказал моей подруге Светлане: «Сходи посмотри, где я раньше сидел. Как только выжил...»

Но что мы тогда понимали – когда нас пускали туда, мы оказывались в Раю. Я точно знала, что лучшее место на земле – Лавра, а лучшее место в Лавре – тесная Батюшкина келья, а лучший человек на свете – наш Батюшка. Здесь – святость и вся красота Православия. В этих пяти квадратных метрах умещалась небесная бесконечность. Время там останавливалось, жизнь преображалась, вещи по-новому воспринимались, больные и бесноватые исцелялись, грешники... Кстати, насчет грешников; вспомнила, как однажды у Батюшки в келье появились елочные игрушки – четыре блестящих стеклянных шара, которые ему принес кто-то из нас четверых тогда, наверное, Светлана. Нас было четыре подруги, только начинающих осваивать православное жительство, но так, что все вокруг нас трещало по швам. Есть такая шутка: если в семье появляется один подвижник, все вокруг становятся мучениками. А мы все как на подбор – да, именно на подбор, потому и дружили – были максималистами, вот Батюшка и взялся за нас, наверное, чтобы мы дров не наломали сгоряча. Долго висели у него под потолком в келье и старели эти наши шары. И никто, кроме нас четверых да Батюшки, не знал, почему он годами их не снимает, чем же они ему, эти четыре облезлых шара, так дороги.

А тогда он вернулся в келью, и не один, уже позвонили на трапезу, и он на прощанье буквально затолкал в дверь молодого человека со словами: «Вы дети Иаковлевы, не разлучайтесь друг с другом». И ушел.

К тому времени у меня за плечами был уже обет безбрачия, вполне возможно, благодаря которому удалось за Батюшкины молитвы отправить в Царствие Небесное моих бабушку и тетю, так что полученное благословение конкретно и утилитарно рассматривать было неперспективно.

А мы хорошо знали, что если Батюшка знакомит людей, нужно не потеряться, обменяться телефонами, и обязательно что-нибудь значительное из этого знакомства произрастет. И вот через месяц раздался звонок моего нового знакомого, Юрия: «Срочно нужна твоя помощь. Умирает от рака моя приятельница, Таисия, ей тридцать пять лет. Пятеро детей, помоги их покрестить. Она тебе позвонит».

Все оказалось непросто. Трое старших детей были от первого мужа, с которым Таисия давно рассталась и жила в Москве со вторым своим мужем и всеми пятью детьми.

Мы вскоре познакомились – я увидела невысокого роста худенькую, коротко подстриженную темноволосую женщину в брюках, которая уже тяжело дышала и медленно ходила... Тогда она и рассказала мне свою историю. Наверное, она повредила грудь во время своих путешествий по тесным пещерам. Она была любителем-спелеологом, друзья так и называли ее – пещерная фея. А еще многие ровесники помнили ее как завсегдатая КСП – так сокращенно назывался Клуб студенческой песни. Да кто из нас в юности не любил петь у костра Визбора и Городницкого...

Дети уже немного подросли, когда она заболела. Это была открытая форма рака груди. Вот она и стала всерьез задумываться о вечности и о своем крещении. Однажды она заглянула в ближайший храм – Крестовоздвиженский в Алтуфьево – и узнала в служащем молодом священнике своего давнего хорошего знакомого по студенческой юности: «Да это же рыжий Дима!» Они были друзьями, когда ей было 18, а ему 17 лет. «Ну конечно, он меня и покре-

стит», – решила она. Но не тут-то было. Отец Димитрий Смирнов побеседовал с ней и сказал, что не будет ее крестить, пока она не изменит свою жизнь.

Вскоре, возвращаясь из Вильнюса, она неожиданно позвонила своему приятелю Вите Дорофееву и поставила ему ультиматум: «Ты меня встречаешь и везешь в Лавру креститься, или я это сделаю где попало. Без вариантов». Виктор послушно отправился с ней в Лавру. Там они обратились к батюшке, которого первым встретили, им оказался игумен Варсонофий, рассказали ему о ее болезни. А батюшка предложил им сначала зайти в Ильинский храм: «А если не получится почему-либо, тогда я пойду к отцу благочинному, мы откроем Успенский собор и ночью покрестим тебя там». Но такие экстремальные меры не понадобились. Таисию в тот день крестили в Ильинской церкви. Все это произошло полгода тому назад, и вот все эти полгода каждый день ей снится отец Варсонофий и зовет ее в Лавру.

– Ну, – говорю, – значит, надо к нему ехать.

А еще она рассказала, что хотела крестить детей в одном из московских храмов, а там ей отказали: «Церковь, – сказал священник, – не ворует детей у родителей. Когда отцы согласятся, вот тогда и покрестим».

Мы договорились встретиться на станции Лосиноостровской – она жила совсем рядом, а мне тоже тогда было удобно туда добираться, и на следующий день мы оказались с ней там, но на разных платформах, и ей, чтобы сесть в александровскую электричку, пришлось преодолевать виадук. На это было страшно смотреть! Я боялась, что она вот-вот упадет и задохнется здесь у меня на руках.

Мы все-таки добрались до Лавры с огромным трудом и там поняли, что, скорее всего, ничего у нас не получится, потому что приехали мы туда в первые дни Великого поста, когда, оказывается, никто из батюшек не принимает – все молятся в храме или по кельям. О том, чтобы попасть к нашему старцу, архимандриту Науму, в эти дни, нечего было и мечтать, мы никогда его не беспокоили на первой и последней неделях поста. Но как же я не сообразила, что и другие отцы в эти дни тоже не принимают... Пришли на исповедь – а там никого.

Ну, раз приехали, все равно не зря. И мы, конечно, решили приложиться к преподобному Сергию, попросить его помощи.

В Троицком соборе, там, где продавали свечи, «за ящиком», мы увидели двух монахов. И я почти безнадежно спросила у одного из них, не поможет ли он нам найти отца Варсонофия. «Это я, – ответил он мне, – а что вам нужно?» Сначала я рассказала историю Таисиного крещения, которую он так и не вспомнил, а потом о том, что она каждую ночь с тех пор видит его во сне. Тогда отец Варсонофий благословил нас к двум часам прийти в приемную архимандрита Наума. Ровно в два, когда мы стояли у проходной, появился отец Варсонофий и забрал Таисию в дальнюю комнату пустой Батюшкиной приемной. Меня оставили ждать рядом, за дверью. Через несколько минут послышались знакомые шаги, и я увидела нашего старца: «Ну что, приехали? А где же она?»

Я ответила, что здесь, на исповеди у отца Варсонофия, в дальней комнате. А ведь я ничего Батюшке не говорила ни о Таисии, ни о ее детях. Тем более он, конечно, не знал о нашем приезде в Лавру.

Батюшка забрал меня в свою маленькую келью, и я все ему рассказала, а он благословил, чтобы Таисия причащалась каждые две недели. Я пожаловалась Батюшке, что отцы против крещения детей. «Нечего спрашивать никаких отцов! Немедленно крестить! И через две недели доложить о крещении!»

Когда Таисия поделилась со мной подробностями своей встречи с игуменом Варсонофием, я услышала, что он ей точно так же благословил немедленно крестить детей и причащаться каждые две недели.

И вот началась у нас новая жизнь. Помню, как приехала к ним на «Бабушкинскую» в большую четырехкомнатную квартиру, где какая-то мебель была, кажется, только на кухне.

Вся кухня была залита морковным соком – все пятеро детей занимались делом: отжимали в соковыжималке морковный сок для мамы. А мама лежала в комнате. Она, пока могла еще добираться до храма, приезжала каждые две недели на «Новослободскую», где в правом хоре Пименовского храма пел ее крестный Витя Дорофеев. А в левом тогда пела я. Там мы и покрестили двух ее самых маленьких детей. А трех старших – в Отрадном, у отца Валериана Кречетова. Никто не спрашивал ни о каких отцах. И мы с Юрием стали крестными у старших.

Он-то оказался крестным у всех пятерых.

А вскоре силы совсем покинули ее, и тогда она потребовала, чтобы каждые две недели мы привозили батюшку к ней домой. Прекрасные священники Пименовского храма, увидев, как она живет, даже обижались, если мы предлагали им деньги за труды.

Приближалось лето. И вот в конце мая архимандрит Наум благословил нас снять в Подмосковье дачу, где бы она могла дышать свежим воздухом, а нам по очереди быть около нее.

Нечего и говорить, что денег на это у нас совсем не было, да и разве в конце мая можно найти что-нибудь приличное, да еще поблизости? И кто согласится поселить у себя такого больного человека? Но все получилось. Каким-то чудом Серафима Шленова нашла недорогую дачу в Ильинском, в сосновом лесу, места там всем хватило, а ей с мужем хватило денег за эту дачу расплатиться. Серафима жила там с Таисией постоянно, а мы с Юрием приезжали туда по очереди. Время от времени появлялись у мамы старшие дети, наши крестники, когда им удавалось отпроситься у отца. Мы все были у Таисии санитарями и чтецами. Она уже почти не ходила и заставляла нас читать ей акафисты вслух и молитвенное правило.

А отец Димитрий попросил своего друга, отца Владимира Воробьева, который тем летом часто приезжал в Ильинское к своим духовным чадам – они жили большой семьей на соседней улице, – чтобы он навещал Таисию, исповедовал ее и причащал. И отец Владимир приходил к ней несколько раз, и всякий раз это были огромные исповеди по четыре часа.

Мы тогда еще понемногу гуляли с ней вокруг нашей чудесной дачи, а по вечерам перевязывали рану, которая была у нее вместо груди. Она все переживала, что не может переодеться, – все носила брюки, пыталась скрыть свою страшную худобу. Ноги у нее были уже тоненькие, как руки, а руки совсем прозрачные.

Тогда она рассказала мне свой сон – ей приснилось, что отец Димитрий и отец Владимир собираются вдвоем ее крестить. А она-то – в брюках, и понимает во сне: надо бы переодеться. В комнате, за дверью которой батюшки ее уже ждут, стоит большой сундук с чужой одеждой. И вот она второпях примеряет платье за платьем, и все это невозможно носить. Все ей совершенно не подходит, и она понимает, что креститься надо в своей одежде. Надевает свои старые штаны и идет креститься к двум своим батюшкам.

А в июле она попросила меня разыскать отца Варсонофия, чтобы именно он ее пособоровал. Я нашла его в Лавре, и он сразу согласился нас навестить, даже как-то радостно: «Я, – говорит, – сейчас уезжаю в отпуск, и через месяц у меня будет единственный день, последний день отпуска, когда я смогу к вам приехать, перед тем как выходить на послушание. Давай с тобой встретимся на Ярославском вокзале в подземном переходе и поедем на вашу дачу».

Никаких сотовых телефонов тогда еще не было и в помине. Через месяц в назначенный день в условленное время с утра мы встретились с батюшкой. Он уже ждал меня, в обычном сером мешковатом костюме, с чемоданчиком, в котором было облачение и все нужное для соборования. И вот мы идем по деревенской улице в Ильинском, среди сосен и красивых деревянных домиков.

– А ты была когда-нибудь в Пюхтицах?

– Нет, – отвечаю, – ни разу не была.

– А ведь у вас тут, как в Пюхтицах.

А потом он увидел всю нашу компанию – мы же все собрались его встречать, услышал чтение акафиста возле постели Таисии:

– Да здесь у вас совсем как в монастыре! Это был день памяти великомученика Пантелеимона.

Шло время, и в конце августа она уже стала задыхаться. Пришлось положить ее в 50-ю больницу. Там ее подключили к кислороду, а от обезболивающих уколов она наотрез отказалась: «Не хочу становиться наркоманкой». Как справлялась с болью? Молилась и крестила больные места, и боль проходила. Мы дежурили у нее сутками по очереди. Она молилась непрерывно, а когда засыпала, просила, чтобы мы рядом с ней вслух читали акафисты или Евангелие: «Если не будете читать, я не буду спать, мне придется тогда молиться самой».

Приближались последние дни ее земной жизни. Всю последнюю неделю каждый день после Литургии к ней приезжал отец Димитрий. Он ежедневно ее причащал и два раза соборовал. И был рядом с ней каждый день все свое свободное время: с утра до вечера, до самого отъезда на вечернюю службу. Он приходил к ней в белом больничном халате, а в палате надевал вязаную епитрахиль и вязаные поручи (жена связала) – такая тогда была «конспирация».

На тумбочке около кровати стояла бутылка с крещенской водой и икона. Маленькая совсем, ее подарил Таисии отец Димитрий. Крошечная бумажная икона, наклеенная на деревянный квадратик. Дверь в палату приходилось постоянно держать открытой – чтобы воздуха было побольше. И все отделение слушало наши акафисты и молитвы.

Однажды утром к нам зашел лечащий врач: «У нас каждая утренняя пятиминутка начинается с вопроса – как там наша братия во Христе? Может, потише будете читать?» Поттише не удавалось, ей нужно было слышать каждое слово.

Мой сентябрьский день рождения оказался днем моего очередного больничного дежурства. Как раз перед этим она пожаловалась, что совсем не может спать: «Попроси Батюшку Наума передать мне немного кагора». Кагора в тот день у Батюшки не оказалось, и он дал мне для нее бутылку портвейна: «А вы там не сопьетесь?» И вот я привезла мамины пироги, портвейн – приехала утром сменить Витю Дорофеева, который дежурил ночью, – и мы втроем отмечали мой день рождения: пили Батюшкин портвейн из больничных маленьких мензурок с белыми рисками и ели мамины пироги. Помню, как она сказала тогда: «Приехала Катька и устроила праздник».

Через три дня снова было мое дежурство. Это как раз был день Крестовоздвижения, 27 сентября. Накануне отец Димитрий седьмой раз подряд ее причастил и сказал, что не сможет завтра прийти, потому что у него престольный праздник. А я ехала из своего Подмосковья из последних сил, и мне было очень стыдно за свои помыслы. А они были о том, что я уже от всего бесконечно устала. Пришла в палату, а там никого. Ночью она умерла.

Мне поручили покупать ей одежду – нашла простое коричневое вельветовое платье с белым воротничком в «Детском мире», белье, простые чулки. Я еще думала: а как же они будут держаться, чулки-то, наверное, нужно какие-то резиночки передать в морг; с кем-то посоветовалась, и мне сказали, что этого никто не делает, просто чулки и все.

Отец Димитрий благословил поставить гроб у него в храме, и мы читали там Псалтирь и днем и ночью.

Я сидела около нее в машине, когда мы везли гроб в церковь, и попросила ее за меня помолиться, и явственно услышала: «Пока ты за меня молишь».

Ночью Вите Дорофееву приснился сон.

Будто на Небе в классе идет урок. За партами сидит полувоцерковленная интеллигенция: «Ну, вроде нашего правого хора», – и тут заходит Таисия с подносом – она принесла студентам еду. А преподаватель читает лекцию о Пресвятой Троице. «Но вот одна странность, – сказал Виктор, – она была с этим подносом в руках в аккуратном коричневом платье, но только почему-то со спущенными чулочками».

А кому-то из друзей она приснилась и сказала: «Вы не можете купить для меня цветов подороже?» Это, скорее всего, означало просьбу посерьезнее молиться за нее. Но на всякий случай отец Димитрий отправил кого-то на рынок за красивыми розами.

Утром Серафима поехала в Лавру к нашему старцу и сказала ему о смерти Таисии. «Таисия умерла!» – вдруг радостно воскликнул наш Батюшка. И сон Вити Дорофеева ему рассказала. А на следующий день, после похорон, я тоже приехала к Батюшке и сразу услышала, как он громко всем говорит: «Тут одна умерла, а теперь она проходит на Небе первую ступень созерцания – учение о Пресвятой Троице».

На отпевании в храм было не зайти – я никогда не думала, что столько людей соберется на ее похороны. Тут были и ее друзья по институту, и туристы-спелеологи, и ее товарищи по КСП...

«Мы все с вами читали о святых, которые жили в древности и были великими, – сказал тогда на проповеди у гроба Таисии отец Димитрий, – а вот лежит перед нами человек, который полтора года тому назад пришел ко мне с просьбой о крещении. А я отказался тогда ее крестить, такая у нее была неправильная жизнь. И вот за эти полтора года она стала настоящей христианкой и сподобилась непрестанной молитвы. Это и есть святость».

Теперь все друзья Таисии, наверняка не без ее молитв, определились в своем служении Богу. Серафима приняла незадолго до смерти монашеский постриг – монахиня Мария, сын ее Алексей – давно уже лаврский иеромонах Дионисий, Юрий тоже стал иеромонахом, отец Варсонофий и вовсе теперь митрополит, и Витя Дорофеев – протоиерей Виктор в Московской епархии. Все ее дети – верующие люди. А старшая дочь Таисии давно приехала к нам в монастырь и теперь монахиня по имени Тавифа.

А ведь если вдуматься, таким стремительным взлетом на небо Таисия наша уподобилась своей небесной покровительнице преподобной Таисии, о которой в житии сказано, что перед Богом ее мгновенное покаяние было выше многолетнего и бесплодного покаяния многих...

Володя Коломенский

Позвонили из деревни: «Ваш Володя не приехал. Уже дня три-четыре, как должен был быть на месте, а его все нет и нет».

Володя был нам знаком еще с коломенских времен, так мы его и прозвали – Володя коломенский. Где-то по долгой дороге из Коломны до Твери он потерял свои документы, и нам большого труда стоило восстановить ему паспорт. Так что паспорт его теперь хранился под замком в сейфе. А Володе – да зачем он теперь Володе, ведь он перемещался только между Тверью и нашим недостроенным пустым домом в деревне, где жили одни коты. Но его надо было сторожить, чтобы больше никто там не поселился. Вот это и было Володиным послушанием. Раз в две недели он приезжал в монастырь, ходил в баню и с полной сумкой продуктов возвращался в деревню.

Мы подождали еще пару дней и поехали в милицию.

Очень серьезный молодой следователь сразу же уверенно произнес: «Это он. В судебном морге в 4-й больнице. Я вам точно говорю, все совпадает по всем приметам. Мы как раз собирались его завтра хоронить. И табличку поставить – № 317. Забирайте и отпевайте, его как раз в тот день и нашли, именно в тех краях».

Наш водитель, тоже Володя, решил на подвиг и, оставив нас в машине, смело нырнул в проем за ободранной дверью судебно-медицинского морга. И через минуту выскочил оттуда: «Нет! Я не могу!»

Покойников было великое множество. Наш лежал привязанный к кому-то валетом, за головой у него торчали чьи-то желтые голые ноги. Живот был зашит наскоро крупными стежками. А этот страшный густой запах – он потом преследовал меня несколько месяцев, то наплывал облаком, то исчезал.

«Это не Володя», – хором сказали мы. «Я вам точно говорю – он. Первый раз, что ли. Ну, как хотите. Не хотите – не берите. Тогда будет завтра лежать под номером 317».

«Наш Володечка – и 317?» – конечно, заберем. Ну, борода немного отросла – это, говорят, бывает. Да мы и сами видели, как иногда до неузнаваемости меняются покойники. Вот Дима-иконописец. Он попал на Чернобыльский реактор в роту химзащиты. Лет десять все было вроде ничего, а потом стремительно стала развиваться лейкемия. Мы ему в больницу принесли ладанку с землей из гроба отца Сергия-Митрофана Сребрянского на следующий день после обретения его святых мощей. А через четыре месяца Дима умер, именно пятого апреля, как раз на день памяти преподобноисповедника Сергия. Когда его отпевали, он был совершенно неузнаваем, мы бы никогда не поверили, что это он, если бы не родственники и знакомые художники вокруг гроба.

Но наш-то, наверное, будет похож хоть немного, бороду уберут, оденут.

Привезли Володечку. Нет, стало еще хуже, теперь уже совсем не похож. Но что уж теперь. Как есть. Отпели мы его и проводили на кладбище, поставили на могиле крест. Кладбище это совсем рядом, на той стороне Орши. Сдали его паспорт, только вырезали на память фотографию, получили свидетельство о смерти и раздали сестрам псалтирь «о упокоении». В Володиных документах нашли адрес его прежней прописки и отправили родственникам телеграмму. Они ответили: «Приехать не можем, мы инвалиды». Тогда написали его сестре длинное письмо, какой хороший он был человек, как мы все его любили, и получили ответ: «Слава Богу, что он нашелся хоть после смерти. Мы же двадцать лет не имели о нем никаких вестей!»

А через две недели вечером прибегают сестры: «Матушка! Там какой-то человек пришел, говорит, наш Володя попросил его зайти в монастырь и найти игумению».

– Володя сидит в спецприемнике в Твери. Он уже многих просил к Вам зайти. Неужели никого еще не было?

Мы тут же позвонили нашему другу, Юре Пархаеву, директору большого завода и депутату, нашему безотказному помощнику, и он вместе с нами поздним вечером очень старался проникнуть за забор спецприемника, но нас так и не пустили, и на следующее утро мы втроем уже снова были там.

– Почему же Вы сразу не сообщили в монастырь? Неужели Володя Вас об этом не просил? Но дежурный милиционер неуверенно ответил:

– По инструкции не положено. Мы запросы посылаем по разным городам, по адресам, где раньше жили подозреваемые, в порядке очередности.

Тут открылась дверь и появился бледный и совсем исхудавший Володя. Матушка увидела его и заплакала.

– Матушка, ну что Вы плачете, я ведь живой! Вот только последние две недели что-то плохо сплю.

– Конечно, плохо. Мы же тебя отпели и о твоём упокоении молимся. И паспорта у тебя опять нет, есть только один документ – свидетельство о смерти.

Пришлось нам снова восстанавливать Володин паспорт, и Володя, наконец, торжественно отправился в Томск к своим родным – как же они ему обрадовались! И там заодно, прочитал он наше письмо – ну кому еще так повезет узнать, что о нем будут говорить после смерти!

«Как у вас все интересно!» – улыбнулся наш Батюшка архимандрит Наум когда мы вскоре приехали в Лавру, чтобы рассказать ему эту историю.

Отопительный сезон

Особенно зимой было тяжело – истопники пьянствовали как назло в самые сильные морозы, и таскать в подвалы уголь и из подвалов шлак приходилось сестрам.

Стало намного легче, когда появилась «печь Вавилонская» – огромный черный котел за забором: ржевские умельцы подсмотрели его где-то в Канаде и сделали такой же у себя на электромеханическом заводе. Стоит себе высоченный термос с длиннющей трубой прямо на улице, и никакой котельной ему не надо. Кидай туда бревна, какие поднимешь, чем сырее, тем лучше, два раза в сутки. Благодетели пожалели нас и сделали нам теплотрассу, это была уже почти цивилизация. Когда истопники исчезали, сестры поднимали бревнышки поменьше, и никакого шлака. Тоже нелегко, но уже совсем другое дело.

Лет через десять замаячил газ, он уже был нам обещан, но тут Владимир Владимирович Путин приехал на Рождество в Городню на Волге, где тоже батюшка мучился с дровами и углем. Тогда нам и рассказали, что сразу после Рождественских праздников в области быстро решили появившийся вопрос, и нашу оршинскую квоту определили туда.

Был бы кто другой, вряд ли бы я смолчала, но батюшка там – историческая личность. Это он был депутатом Верховного Совета во время расстрела Белого дома. Отказавшись, как теперь говорят, от персонального гуманитарного коридора, попросил даниловских монахов передать ему облачение и Святые Таины. Он там под пулями крестил и исповедовал весь Верховный Совет, пока не пришли и не сказали, что сейчас зайдет батальон «Альфа», который получил приказ всех расстрелять. Тогда батюшка позвал своего друга, тоже депутата, главного врача какого-то большого города, кажется Курска, поставил его на колени перед Священным Писанием и сказал: «Володя, пришла пора давать обеты. Обещай, что, если останемся живы, станешь священником».

Дверь открылась, вошли солдаты и объявили, что, несмотря на полученный приказ, они никого не будут расстреливать, а всех выведут из здания.

Их попросили: «Сначала женщин и детей».

С тех пор каждый год в первых числа октября бывшие депутаты Верховного Совета встречаются в Москве, они стали за эти годы совсем друзьями и, конечно, помогли своему отцу Алексею восстановить прекрасный старинный храм, построили гимназию для детей. Поэтому и Президент там оказался, и наша газовая квота туда уплыла поэтому.

Ну, значит, не судьба.

Так мы и мучились год за годом каждую зиму: кому снег и красоты, а мне – отопительный сезон.

А тут вдруг приходят сестры и докладывают, что приехали какие-то люди и просят согласовать бумаги на проектирование газопровода из одной соседней деревни в другую – мимо нас, по нашим полям.

Я сказала все что думала: «Подписывайте сами, и чтобы я этих людей никогда не видела!»

Они приехали вскоре к нам уже с готовым проектом на утверждение. Настроение у меня на этот раз было получше, я взглянула на проект – вот это да! Труба среднего давления посередине нашего поля вдоль реки.

– А если мы здесь коровник построим, и что, взлетим на воздух? Переносите трубу ближе к лесу.

Они, конечно, расстроились, но что делать, поехали работать. А вскоре опять оказались у нас. «Спасибо вам, – говорят, – мы ведь действительно ошиблись, не выдержали расстояние до Волги, все равно бы пришлось переносить трубу к лесу. А ведь знаете, матушка, у вас может быть газ. В Вышнем Волочке решили строить котельную, выделили 11 миллионов, а документы не готовы. Деньги точно уйдут обратно в бюджет. А вам как раз 11 миллионов нужно, чтобы газ

в деревню провести, и документы у вас все есть. Если сумеете перенести эти деньги из одной строки бюджета в другую, можно еще все успеть».

Пришлось побегать по кабинетам администрации области: совещание там, совещание в Заксобрании, снова совещание в области. И перенесли денежки куда нужно, все согласовали, и осталось только ждать, когда появится газопровод.

Прошла осень, наступил декабрь, а ни одного метра газопровода так и не провели. Стало ясно – еще неделя, и все, и миллионы наши уплывут в бюджет, и не видать нам ничего, кроме своей «печи Вавилонской» с мокрыми бревнами.

Вот тут я и прибежала к нашей Нонне Григорьевне, совершенно расстроенная: сделайте что-нибудь, помогите нам, ведь еще немного, и все пропало!

С Нонной Григорьевной Бродской мы познакомились в самом начале нашего тверского жительства, в далеком 1992 году.

Мы оказались тогда в разрушенном монастыре, где ничего не было пригодного для жизни, одни мечты. Вот кто-то нам и посоветовал – идите к энергетикам, у них есть деньги. Мы с матушкой Иулианией нашли здание «Тверьэнерго», прочитали на первой слева от входа вывеске «Главный инженер Девочкин Сергей Борисович», постучали и вошли.

Очень красивый, интеллигентный средних лет седой человек усадил нас за стол, выслушал нашу просьбу и сказал, что денег у тверских энергетиков, к сожалению, нет, но он все-таки постарается нам помочь. «Нонночка, – позвонил он по телефону, – к тебе сейчас придут от меня две девушки, только ты не удивляйся их внешнему виду. Им надо помочь, я тебя об этом прошу».

И мы отправились на Речной вокзал в «Тверьгражданпроект», где в маленьком кабинете на третьем этаже нас приветливо встретила наша Нонночка, тогда ей было меньше лет, чем мне сейчас. Мы как-то сразу подружились с ней, она пообещала сделать нам бесплатно проект отопления единственного сохранившегося монастырского дома и за чаем рассказала немного о себе: «Я так люблю русские храмы, русскую природу, мой единственный сын живет в Израиле, но я никогда не уеду туда насовсем, я не могу расстаться с Россией».

Что-то это подозрительно, похоже, она крещеная, но как же точно узнать-то? И мы стали расспрашивать ее о том, как прошло ее детство. И она рассказала, что родилась и выросла в Одессе, и когда перед войной разогнали почти все монастыри, мама спасла бездомную монахиню Марину, и та стала няней маленькой еврейской девочки.

– Я же совсем не понимаю в детях, никогда не держала их в руках!

– Ничего, будем учиться вместе.

Марина безумно любила свою девочку, буквально не выпускала ее из рук.

– А Вы не помните, куда вы с ней ходили гулять?

– Ну как же, она всегда ходила со мной в собор...

– А не подводила она Вас к алтарю?

– Всегда, и мне там из маленькой золотой ложечки давали сладенького. У нас была с ней такая тайна от мамы.

– Тогда поздравляем, Марина Вас, конечно, крестила, только побоялась сказать об этом Вашим родителям. И водила к причастию каждый день.

Мы стали большими друзьями, вскоре покрестили и мужа Нонны Григорьевны, Владимира Ильича, потом их повенчали, а несколько лет тому назад вернулся из Израиля домой их сын – надо же было ему познакомиться по Интернету со своей будущей женой, которая, как оказалось, живет в Твери и никуда уезжать из родного города не собирается.

Тогда, в декабре, мне не пришлось больше никого просить нас выручать, Нонна Григорьевна обо всем договорилась, и работы на трассе все-таки начались. Она ведь всю жизнь проработала в Твери, можно сказать, главным теплотехником области, и все то поколение тверского руководства ни в чем не могло ей отказать, на наше счастье.

А когда Сергей Борисович Девочкин со своей супругой впервые приехал к нам в будущий Екатерининский монастырь, помню, он так и остался на улице – курить, – и мы пили чай с Валентиной Николаевной в тот раз без него. Он был некрещеным, и это была тема нашей первой встречи с его женой.

Потом мы стали частыми гостями в его кабинете, он помогал нам как мог, и через несколько лет мы узнали, что он все-таки принял святое крещение. А вскоре услышали, что он неизлечимо болен, – рак желудка.

Ему отрезали желудок по частям, операция за операцией, и как только ему становилось хоть немного полегче, он сразу приезжал к нам на Оршу со своей дачи в Лисицах. Стоял всю службу как свечка – усадить его было невозможно, причащался, а потом мы шли с ним завтракать. Завтраком его всегда было одно сырое яйцо, больше в его крошечном желудке ничего не помещалось.

Мы обычно приезжали к нему в больницу со священником, который его соборовал и причащал, и помню нашу последнюю встречу с ним в конце августа: на тумбочке в палате бутылка с крещенской водой, икона, жена читает ему Евангелие: «Больше ничего он слышать не хочет». Нам в тот раз предстояла неотложная поездка в Почаев с Владыкой. Вот мы и зашли к Сергею Борисовичу перед дорогой, а он стал прощаться с нами навсегда:

- Мы с вами уже не увидимся. Так я чувствую.
- Обязательно увидимся, приедем через две недели – и к Вам!
- Нет, матушка, больше не увидимся.

Прошла всего неделя, и он мне позвонил на Украину: «Матушка, я звоню, чтобы попрощаться с вами. Смерть дышит мне в затылок, но мы-то с вами понимаем, что это счастье».

Седьмого сентября его не стало.

Уже после смерти, уже с того света, он продолжал заниматься нашими электрическими делами, и его товарищи по работе все-таки подарили нам новый трансформатор, который он не успел выхлопотать для нас при жизни.

Этот огромный трансформатор простоял у нас целый год, бесхозный, бесплатный, ничей, мы никак не могли его оприходовать, а значит, и подключить к сетям.

И ровно через год, в день памяти Сергея Борисовича, 7 сентября, когда мы сидели после кладбища за столом в Лисицах среди его родных и сослуживцев, позвонили из «Тверьэнерго» – срочно приезжайте, появилась возможность узаконить ваш трансформатор, только именно сегодня, вчера было нельзя, а завтра будет поздно.

И электричество его друзья подключили нам бесплатно, так что теперь на полдеревни хватит.

А на кладбище в Лисицах на месте прежнего, снесенного до основания Крестовоздвиженского храма теперь построена маленькая деревянная церковь, и после первой Литургии панихиду мы служили на могиле у Сергея Борисовича, а он радостно смотрел на нас из-под креста своего гранитного памятника.

Отец Федор

Мне тогда казалось, что всё, что благословляет Батюшка, на Небе уже решено без нашего труда – столько всего невероятного случалось после каждого приезда к нему в Лавру. Немало времени прошло, пока я стала соображать, что «кротки как голуби» не зря поставлено рядом с «мудри как змеи», что это не только к Батюшке относится. Вот я все и испортила, когда Батюшка отправил меня обойти московские психушки и найти врача, в отделении у которой лежал отец Федор, и спросить, не хочет ли она принять Православие.

Это было в самом начале восьмидесятых. Психушки-то я обошла, познакомилась с этой стороной жизни человечества. И даже в одной из них нашла врача, за которую молился Батюшка, надеясь, что я смогу так поговорить с ней, что душа отзовется на Божий призыв. И какой результат? Я спросила «в лоб», не хочет ли она креститься. На меня посмотрели как на пациента этой больницы и вежливо попрощались.

– Что? Вот так прямо и спросила?

Но ничего уже было не поправить. Этот горький урок остался на всю жизнь – дело из-за моей глупости было погублено совершенно. А Батюшка хотел помочь человеку, который помог, по крайней мере не навредил, отцу Федору...

«И вот однажды, – рассказывает Алексей, один из Батюшкиных келейников, – Батюшка спускается в шесть утра во двор со своего третьего этажа Варваринского корпуса и во весь голос кричит: “Алексей! Алексей!”

Я стоял в это время у проходной, увидел Батюшку издалека, подбежал к нему.

– Пойдем к отцу Федору сейчас.

Может, Батюшке и не говорили, что его привезли в Лавру, – Господь открыл ему, что отец Федор здесь... Мы пошли. Прием в это утро Батюшка отменил. Поднимаемся высоко по лестнице – я там ни разу не был, в этом корпусе, заходим в келью. Что я увидел – изможденный старик, весь иссохший, лежит на кровати прикрытый простыней. Рядом сидит послушник. Батюшка на все это посмотрел, ему как-то не по себе стало, он подходит, встает на колени перед этим старцем и прямо во весь голос говорит: “Отец Федор! Отец Федор! Это я, твой недостойный послушник Наум, пришел, помнишь меня? Ты же мне тогда корзины давал с просфорами носить, я носил. Помнишь? Вот ты отойдешь скоро, ты увидишь Лавру с Небес, ты увидишь всех нас, ты будешь с Преподобным вместе, ты нас будешь видеть, – и Батюшка заплакал; я первый раз видел, что Батюшка плачет. И громко так говорил, я никогда не слышал. Потом он на коленях постоял еще какое-то время в тишине, поднялся, помогли ему встать, взял епитрахиль, исповедовал его. Отец Федор хотя и открывал глаза, но уже не мог ничего сказать, и Батюшка еле слышно отвечал за него: “Да, да”, – не спеша. Прочитал разрешительную молитву, чтобы его причастили. Батюшка перекрестил его: “Прости меня. С Богом”. И потом мы с Батюшкой пошли. Батюшка мне говорит: “Может, он еще поживет? Надо ему туда сок принести, убраться”. И ночью отец Федор умер, 18 июня 2012 года.

Так умирал старец архимандрит Федор (Андрющенко). Прозорливый был, он еще, говорят, юродствовал, ворон гонял. Его не все понимали. Высокой духовной жизни был отец Федор. Он сейчас в Деулино похоронен. Разрешительную молитву на отпевании Батюшка читал.

«Еще помню, – сказал Алексей, – один раз Батюшка шел в храм, мы его с двух сторон держали за руки, а он и говорит: “Если бы вы так держали людей, как меня сейчас, было бы больше пользы в мире”».

Дарим тебе дыхание

Она появилась у нас в Екатерининском Тверском монастыре в девяносто седьмом, не вспомню точно время года...

Вера пришла к нам с тремя детьми и попросила их пристроить. Рассказала, что работала на стройке без респиратора и зацементировала себе легкие. Врачи оставили ей три месяца жизни – операция была невозможна: легкие под ножом не резались бы, а крошились.

Сына определили в Звенигород, девочек мы забрали на Оршу, а Веру через несколько дней я повезла в Лавру, к нашему Батюшке архимандриту Науму.

Тогда он еще принимал нас сразу по несколько человек, и много можно было там услышать ценного – Батюшка умел так выстраивать беседы, что пользу получал каждый, кто был в тот момент рядом с ним. Это потом кто-то пожаловался, что приходится исповедоваться при народе, и всё закончилось. С тех пор мы заходили по одному, редко вдвоем-втроем, если только вместе приехали или связаны общим послушанием.

А ведь я прекрасно помню, никогда не бывало такого, чтобы кто-нибудь услышал тайну другого человека. Или в нужный момент начинался неожиданный шум – кто-то станет паке-тами шуршать, или отключалось внимание, а когда включалось снова, уже все тайное было сказано. Или уж, если очень было нужно, Батюшка просил всех выйти, оставляя у себя человека одного на покаяние.

Вот и в тот раз вокруг старца было много людей, мы вошли с Верой, и он сразу меня позвал: «Ну, что у тебя?»

Я рассказала ему о ее смертельной болезни, а он попросил кого-то принести маленький черный томик «Букваря» – еще первое издание – на букву «Д».

– Открывайте статью «Дыхание» и читайте...

Начали читать вслух, статья была длинная-предлинная, какая-то почти медицинская. Мы слушали, как открываются и закрываются альвеолы, народ был в недоумении – у каждого свои вопросы, время уходит непонятно на что, а он как будто задремал, но встрепенулся, когда чтение закончилось.

– Дарим тебе дыхание. Вот тебе бесплатное лечение. Ну-ка, сделайте обе вот так, – он поднял руки, глубоко вздохнул и выдохнул, резко отбросив руки вниз.

– Два раза так вздохните.

Мы повторили за ним это неожиданное упражнение.

– Времени тут с вами потеряли, вон сколько народу ждет, а ну идите отсюда! – и уже вслед нам: – У тебя там в Твери есть профессора? Покажи ее им.

– Какое-то тепло ходит по спине, – сказала мне она, когда мы вышли из Батюшкиной кельи.

Мы вернулись в Тверь, Веру отправили в областную больницу, там ей сделали рентген и с изумлением увидели, что легкие у нее новые, как у младенца.

Прошли годы.

Дети выросли, определились, кто куда, уже родились внуки.

А Вера стала монахиней Анной, настоятельницей Творожковского монастыря в Псковской области.

Матушка очень спешила все успеть. Все делала быстро и хорошо. Устроенный монастырь, прекрасный, сияющий чистотой и красотой убранства храм-реликварий – мало где можно встретить такое количество святынь.

О таких людях, как она, говорят: на все руки мастер. Но главное, что она умела, – она умела молиться.

Совсем рядом с монастырем – несколько минут на лодочке через озеро – маленький остров. Деревянная церквушка и два крошечных домика за высокой дощатой оградой. Матушка назвала его «Островом молитвы» и все ждала, когда же достроят домики, и там будет у нее затвор.

Ее не стало 17 октября 2017 года. Через двадцать лет после второго рождения на этот свет тогда, в Троице-Сергиевой Лавре, в келье архимандрита Наума. И через пять дней после его ухода в Царствие Небесное. Батюшка несколько месяцев уже не мог самостоятельно дышать, и его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

А ведь очень похоже, что тогда, двадцать лет тому назад, батюшка как бы «подключил» мать Анну к своим легким, и в последние дни его жизни, когда он уже почти совсем не мог дышать, мать Анна собралась умирать. Сестры рассказали, что она стала задыхаться, – к ней вернулись приступы астмы, тяжелый кашель, а где-то за неделю до смерти – может, и в день ухода в вечность нашего батюшки – она увидела в небе лик Спасителя, как бы призывающего ее, и все поняла. За два дня до своей кончины позвонила сыну: «Приезжай ко мне проститься, я буду умирать».

Матушка навела порядок в делах и документах, сделала все необходимые распоряжения. А накануне ее последней дороги – к Владыке на день Ангела – к ней зашла благочинная и увидела матушку, лежащую в постели со сложенными руками. «Умирать буду», – сказала она.

Но умереть в своей постели ей было не суждено.

Господь забрал ее так, как Ему было угодно, и душу, горевшую любовью к Богу, провел через огонь, очистил огнем, чтобы сгорели в этом смертельном пламени ее последние немощи и забытые грехи.

Об этой страшной аварии сразу же узнал весь православный мир – так матушка не только жизнью, но и смертью своей обрела множество молитвенников здесь, на земле. И свой долгожданный Остров молитвы в Царствии Небесном.

Маленькая часовня

В конце каждого месяца начинается паника – пора выдавать зарплату; вот и приходится метаться по благодетелям, чтобы на всех хватило.

– А ты помолись Иоанну Милостивому, он всегда в таких случаях помогает.

В келье горой свалены бумаги: на столе и на всех полках стеллажей. Уходим в шесть, приходим в двенадцать, какие еще уборки, до кровати бы добраться. Протянула руку к книжной полке, и вдруг из какой-то стопки падает на пол маленькая ламинированная иконочка – Иоанн Милостивый, кто-то привез из Венеции. Наверное, отец Сергей.

Он сейчас как раз там служит.

Стопка старых календарей за аналоем – открыла первый попавшийся, и как раз на молитве Иоанну Милостивому.

– Мать Елизавета, иди сюда, процесс пошел.

Прочитали мы с ней эту молитву перед маленькой иконой святителя, да и все. А еще я нашла его житие, и очень мне запомнилось, как он благословил своему эконому во все торжественные праздники открывать широко двери и во всеуслышание возвещать: «Владыка! А гроб-то, который Вы себе заказывали, уже почти готов! Прикажите его доделать!»

Прошло всего несколько дней, и вот 7 декабря, престольный праздник в Екатерининском монастыре. Торжественная архиерейская служба, полная трапезная гостей во главе с Владыкой. Владыка всех поздравляет, и всех именинниц, и меня, как всегда, – он все еще помнит мое имя до пострига.

Выходим мы на лестницу, а там стоит наш бывший водитель, Сергей, который когда-то утопил в Орше наш маленький красный трактор Т-25, а теперь он плотник, и тоже меня поздравляет: «У меня, матушка, есть для Вас подарок. Только он необычный. Вы не обидитесь?»

– Да нет, конечно.

– У меня для вас есть гроб. Даже два. Выбирайте – красный или черный.

– Конечно, красный. Пасхальный. Вези в монастырь!

Вот это да! Надо же – значит, Иоанн Милостивый нас услышал. Гроб посреди пира – ну точно из его жития.

А через неделю к нам приехала Валентина Никаноровна:

– Вот что я хочу тебе сказать. Забирай свою часовню.

– Как это забирай? Отец Павел ее восстановил, все там устроил, и – забирай!

– А я тебе говорю – забирай. Время пришло. Приближается 400-летие Дома Романовых.

А ваша игумения Сергия эту часовню строила к 300-летию.

Часовню – Федоровскую – действительно построила оршинская матушка игумения Сергия в 1913 году, а после революции ее разрушили, и там долгие годы была керосиновая лавка. В конце восьмидесятых, когда нас еще не было в Твери, часовню передали Церкви, и отец Павел ее восстановил и освятил на этот раз в честь Иоанна Кронштадтского, потому что наконец-то у нас совершилось его прославление.

– Забирай, говорю тебе, свою часовню.

Пиши письмо Владыке.

Может, это и есть ответ от Иоанна Милостивого?

Составили мы письмо, написали там, что очень благодарны батюшке, отцу Павлу, за труды, но часовня-то оршинская... И как раз 400-летие приближается...

Владыка сразу же вернул часовню нашему монастырю. «Это, – сказал, – исторически обосновано и аргументировано». А отец Павел, наверное, давно готовился к этому неизбежному событию, и мы на самом деле получили от него подарок – он оставил все убранство, ико-

ностас, все иконы, только попросил не увольнять девочек, которые там работают. Вот и оказалось его имя в монастырском синодике благодетелей, записанных на «вечное поминовение».

Гроб этот пасхальный так и простоял несколько лет на колокольне, пока одна из сестер не попросила перенести его к ней в келью – для памяти смертной. Это только сначала страшно на него смотреть, а потом привыкаешь. Вот у Батюшки в приемной несколько лет стоял гроб. Мы-то все давно присмотрелись к нему, и даже писали на нем свои покаянные записки. Новенькие сначала пугались, а потом тоже привыкали. В этом простом деревянном гробу его и привезли из больницы в Лавру, а потом переложили в другой, обтянутый белой тканью. У Батюшки все было просто. Даже подчеркнуто просто. «Смотрите, чтобы у вас не было никакой роскоши», – строго сказал он мне однажды.

Вот так и складывается в нашем монастыре, что сестры всегда живут в тесноте, и как ни старайся, все не хватает нормальных помещений для жизни. Денег впритык или просто нет, ничего особенно не построишь. Ни гостиницы, ни музея, ни трапезной для паломников. Только самое необходимое. Зато прекрасный древний храм и тишина за окнами. И эта удивительная лесная дорога...

Маша появилась у нас несколько лет тому назад осенью: она не поступила в Лаврскую иконописную и плакала возле Батюшкиной кельи. Там ее увидела моя подруга Ася, когда Батюшка уже ушел после приема, а Маша так и не попала к нему, и Ася привезла ее к нам. Вскоре к ней приехала прабабушка и осталась у нас насовсем. Прабабушка стала монахиней Савватией, а Маша – инокиней Анной. Когда мать Савватии было уже восемьдесят шесть, она почти ослепла, а московские врачи посоветовали ей пить корвалол и сидеть дома. Я рассказала об этом Батюшке, и он благословил покупать билеты в Симферополь – лететь с ней туда на самолете: «Там хороший врач, он с этой катарактой справится». Только обязательно зайдите сначала к святителю Луке. «На восьмой день после операции будет видеть», – пообещал нам доктор, и мать Савватия терпеливо ждала своего восьмого дня в церковном домике отца Вячеслава в Казачьей бухте Севастополя. Она совсем не роптала:

– Ну и что, что я теперь совсем ослепла? Вы же будете мне читать Псалтирь и Евангелие, и я смогу жить.

Семь дней она не видела ничего, а на восьмой день проснулась, вышла на улицу и разглядела клетчатые штаны на балконе соседнего дома. И долго-долго каждое утро начиналось у нее с благодарности святителю Луке, Батюшке, врачу и нашей обители за то, что теперь она может читать.

В начале августа она упала, сломала ногу и слегла. Вскоре перестала нас узнавать, мы ее причастили шесть раз подряд и пособоровали. А через две недели к нам в монастырь неожиданно приехал митрополит. Вечером мы сели пить чай, и вдруг прибегают сестры:

– Мать Савватия умерла! Благословите послужить литию?

– Я сам послужу, – и через несколько минут сестры пели первую панихиду с Владыкой в крошечной келье-пенале, где лежала укрытая мантией мать Савватия. Мне все казалось, что она еще дышит. В конце панихиды все запели: «Христос воскрес из мертвых!»

Мать Савватию пришлось отвезти в морг, такие уж сейчас правила, она так и уехала туда вечером в монашеской одежде. И оказалась в морге совсем одна – никого больше ночью туда не привезли, а утром уже вернулась в свой родной монастырь.

Купить для нее гроб мы уже никак не успевали. Вот и пригодился мой изрядно поношенный пасхальный гроб – такой же простой, как Батюшкин, только красный, а не белый. Его принесли к бабушкиному дому и положили туда мать Савватию. Потертые края прикрыли красивыми белыми и розовыми цветами, и получилось все как надо. Гроб поставили в Савватиевской маленькой церкви, дочка и внучка мать Савватии с монастырскими сестрами читали там

Псалтирь. Под утро совсем выдохлись после всех событий дня и оставили ее одну до службы, с Ангелами. А ведь точно с Ангелами! Потому что в шесть утра мать Надежда вышла на балкон, с которого как на ладони видна Савватьевская церковь, и услышала, что внизу поют панихиду, – пение сестер и возгласы священника. Она спустилась со второго этажа, зашла в церковь – а там никого. Батюшка еще не приехал, а сестры только просыпаются на службу.

Владыка разослал циркулярные письма с распоряжением поминать мать Савватию во всех монастырях епархии. Таких почестей еще никто из наших усопших сестер не удостоивался.

Лет, наверное, пятнадцать мы всё пишем и пишем в разные инстанции с просьбой вернуть нам из Тверского музея нашу древнюю Феодоровскую икону, которую, по преданию, привез из Костромы настоятель нашего монастыря архимандрит Иосиф, – ему доверили подписывать от всей Тверской земли Уложенную грамоту на избрание царя Михаила Федоровича Романова в 1613 году. Уже огромная папка накопилась с нашими письмами и ответами на них. И вот очередное совещание, все как всегда, никто не хочет, чтобы икона покидала Тверь: «Задача не имеет решения».

– Если задача не имеет решения, значит, – говорю, – надо менять условия задачи.

И тут меня осенило, что за эти годы действительно поменялись условия задачи – ведь у нас теперь появилась часовня Иоанна Кронштадтского в центре города, которая раньше была именно Федоровской!

– Вот это совсем другое дело!

А ведь и наш детский центр назван в честь Иоанна Кронштадтского. Значит, часовня теперь будет Иоанно-Феодоровской. Вот Иоанн Кронштадтский и помогает нам вместе с Пресвятой Богородицей.

А недавно мы, монахини, стали семейными людьми – монастырь приняли в Иоанновскую семью, и даже пригласили меня в замечательную поездку – железнодорожный Крестный ход из Санкт-Петербурга в Суру, на родину Иоанна Кронштадтского, к двадцатипятилетию его прославления. Целый поезд полностью состоял из паломников со всего мира – протоиерей Николай Беляев, духовник Иоанновского монастыря в Санкт-Петербурге, объединил в Иоанновскую семью почти все монастыри, храмы, детские приюты и богадельни, посвященные Иоанну Кронштадтскому. Наша часовня тоже оказалась в этом списке. А мне так захотелось, чтобы со мной поехали мои подруги – игумении Иулиания и Варвара. И отправились мы с разрешения отца Николая в это путешествие втроем. Оказались в удобном купе, три игумении тверских монастырей, и сразу слышали по радио, что в нашем поезде есть церковь, и там будут непрерывно служить молебны, и по радио нам объявят, пассажиры какого вагона должны идти на очередной молебен. Оказалось, что Святейший разрешил прицепить к нашему составу свою передвижную церковь-вагон, с алтарем и прекрасными иконами. Пришлось нам сидеть в полном облачении с утра до вечера и ждать своей очереди идти через весь поезд на молитву.

Вот идем мы по составу, несколько купированных вагонов, а дальше плацкартные, и сидят там в духоте и тесноте пожилые священники, из Ирана, из Америки, из двадцати двух стран. Счастливые – они в России! За плечами у каждого из них огромная работа, иногда в нечеловеческих условиях. Вот в нашем вагоне через купе ехал отец Джон из Пакистана. Пока он путешествовал, сожгли заживо двух его прихожан, просто за то, что они православные. А батюшка из Ирана – у него там богадельня для умирающих стариков из русской эмиграции. Никаких средств, полная нищета. Старый пластиковый ящик с лекарствами, которые пожертвовал единственный благодетель, – вот и все богатство.

А мы втроем в купе на одну маленькую часовню, которую вообще-то отец Павел восстановил, а мы в готовом виде получили. Да... Но назад дороги нет, едем дальше. По пути на всех

больших полустанках выстраиваемся на привокзальной площади с иконами-хоругвями – двести пятьдесят священников, шесть архиереев во главе с митрополитом Сергием Барнаульским и Алтайским и человек двести паломников – и поем молебны. Наверное, жители этих городов и поселков никогда такого не видели.

Остановка в Плисецкой – вот не думала, что когда-нибудь здесь побываю. Это было место постоянных командировок моего отца.

В Архангельске на молебен пришли мои некрещенные двоюродные сестры и радостно стояли с хоругвями среди поющих паломников. А я все вспоминала свою горестную тридцатипятилетней давности поездку в этот город, где тогда лежал который год подряд парализованный мой дядя, Федор, младший брат моего отца. Меня Великим постом пригласили на свадьбу его младшей дочери, и отец Наум благословил ехать туда и постараться дядю покрестить. Перед поездкой я попыталась узнать у своих знакомых, кому там можно молиться, – посоветовали Артемию Веркольскому, а про отца Иоанна никто и не вспомнил. Дядя сразу от всего оказался, и я, вместо того чтобы с ним каждый день терпеливо разговаривать, с утра до вечера беседовала с его дочками и женой – может, хоть они покрестятся. И вот ночью вижу во сне огромный разоренный собор – базилика с двумя рядами облупленных, с выбоинами колонн. Ни алтарной преграды, ни иконостаса нет. Там, где должен быть амвон, стоит престол. Или, точнее, стол вместо престола. В храме среди народа много моих друзей. Заканчивается служба, священник положил крест на престол и руку свою держит на столе, возле креста. Все подходят и прикладываются к кресту и к руке. Подхожу и я.

– Второй раз к руке приложись, – говорит он мне, и я послушно со страхом второй раз целую ему руку.

– Зайдешь ко мне после, когда все пройдут.

Мне жалко идти одной, я чувствую значительность происходящего, и хочется поделиться этим со своими подругами. И я зову с собой Людочку с маленькой дочкой Лизой. Батюшка проходит между колоннами, открывает дверь в стене, там его приемная. Мы входим втроем.

– Одна зайди, – строго говорит он мне. Подруга с дочкой остаются за дверью, а я вижу его сидящим в старинном кресле в красивом облачении, он мне кого-то напоминает, но я не могу его узнать. И вот он обращается ко мне и говорит какую-то фразу старинным языком, и я не понимаю ничего. «Батюшка, – говорю, – я не поняла!» Он второй раз повторяет то же самое, и я опять ничего не понимаю. Тогда я в горе – мне ясно во сне, что это что-то очень важное, я должна это понять, – в третий раз говорю, что ничего не поняла, и он еще раз повторяет свои старинные слова, я просыпаюсь и сразу вспоминаю, что видела портрет именно этого батюшки в этом кресле, в этом облачении, – да это же отец Иоанн Кронштадтский! И тут же забываю его старинную фразу, зато в голове складывается ее перевод, ее голый смысл: «Если ты будешь так легкомысленно относиться к своим междугородним поездкам, то из этого ничего не получится, кроме повода для тщеславия».

Потом уже я узнала, что если человеку снятся святые, значит они предлагают ему свою помощь. Но ведь можно было тогда все-таки что-то понять, подумать, почувствовать...

Мне бы начать ему молиться, узнать, что здесь его родина, семинария, где он учился, – его родная земля. Так ведь нет. Я безрезультатно потратила время на разговоры со всей семьей вместо того, чтобы все дни быть рядом с больным своим дядей. Дядя так и остался некрещеным, я уехала ни с чем, и он вскоре умер.

– Как же так, – огорчился Батюшка, – ты должна была его покрестить...

Какое уж тут тщеславие, один позор. Или все-таки примешивается, если рассказываю об этом. «Надо же, – скажут, – сам отец Иоанн к ней во сне приходил». А что толку...

Потом дядя приснился своей жене, Лидии. Лежит больной в кровати.

– Федя, что ты лежишь?

– Некому поднимать...

Это мне с тех пор на всю жизнь.

Заодно припомнилась одна из поездок на Карповку: стою в нижнем храме-усыпальнице возле белой гробницы, напротив одна из сестер монастыря; я взглянула на нее и подумала, что у нее лицо мирского человека, как будто только что смыла косметику. И тут же услышала внутри себя: «Приехала сюда моих осуждать!»

Какой стыд. И я теперь буду к нему – со своими просьбами... Ну вот и все. Снова ничего, кроме позора. И тут подходит ко мне одна из сестер и просит помочь протереть раку, и я поняла, что на этот раз прощена.

Вот и Карпагоры. Здесь мы пересели в микроавтобусы, растянулись длинной колонной и преодолели 120 км трудной сельской дороги. В нашем автобусе мы оказались вместе с архимандритом Тихоном – настоятелем Псково-Печерского монастыря, где когда-то и началась моя сознательная православная жизнь.

«Сказочная» переправа через Пинегу на свежеразкрашенных антикварных пармах – кадры из фильма пятидесятых годов... И вот мы в огромном северном селе, где до сих пор повсюду живут родственники батюшки Иоанна; вот дом, где он родился, вот храмы, которые он построил, и могила его отца в часовне. И маленький монастырь – сейчас там пять сестер. Монастырь, который возрождал из руин наш старец, архимандрит Наум, собирал первых сестер – они по его благословию не испугались ни холода, ни нищеты, ни бездорожья и оторванности от Большой земли. Девочки во главе со старшей сестрой «бабой Юлей» вымаливали на руинах разрушенного монастыря будущую обитель, по кирпичику начиная восстанавливать церковь, где сейчас молятся оставшиеся Батюшкины сестры с новой матушкой, которую направили сюда из Иоанновского монастыря, и теперь отец Николай Беляев со своей Иоанновской семьей стали продолжателями дела, начатого в девяностые годы нашим старцем.

Все село превратилось в один большой гостеприимный дом – повсюду расселились паломники, нас тоже приютили на окраине Суры в затейливом деревянном домике на берегу. Нам едва удалось остановить хозяйку, которая хотела истопить для нас баню и для этого собралась возить на себе в тележке воду из речки.

Всенощную отслужили в дальнем, уже почти восстановленном Никольском храме, там же раннюю Литургию, а к поздней прилетел на вертолете Патриарх, с ним еще несколько архиереев, и Литургию служили в большом Успенском соборе на другом краю села, который каким-то чудом успели подготовить к встрече Святейшего. Алтарной преграды нет, разбитые стены аккуратно затянуты белой баннерной тканью, на которой напечатали большие иконы, в просторном алтаре поместились во множестве архиереи и старшие священники, остальные стояли в храме с народом. Иконостаса еще нет, перед нами престол, вся служба как на ладони, и кажется, весь храм превратился в огромный алтарь.

После службы всех отправили на другой конец села, где был праздничный концерт, и тут объявили, что нужно возвращаться через всю Суру в собор фотографироваться со Святейшим. Дорога, по которой сразу поехали машины, а потом быстро пошли паломники, была оцеплена с двух сторон, и тут я увидела за металлическим ограждением свою архангельскую тетю – сестру жены дяди Федя, которая протягивала мне через головы стоящих перед ней людей пакет – подарок из монастыря Артемия Веркольского, где ночевала их паломническая группа, и я поняла, что смогу подойти к ней только когда все проедут и пройдут. Вот мы и остались, чтобы не обижать человека, и когда подошли к собору и поднялись наверх, все уже спускались вниз со ступеней, Святейший садился в машину, отец Николай торжественно вручал ему большую икону, и матушка Иулиания сняла этот момент на камеру своего телефона.

Когда мы еще стояли на службе в соборе, к нам подошли сопровождающие Святейшего и сообщили, что мы приглашены на праздничную трапезу в монастырь. Пришли мы на трапезу, а трапезная-то крошечная, почти никто из благодетелей монастыря там не поместился, матушка

игуменья чуть не плачет, так было жалко ее, но чем мы могли ей помочь, мы бы рады уйти, да поздно, уже и Святейший зашел.

И вот едем мы назад, в Карпагоры, трясемся в микроавтобусе, а за мной, за моим сиденьем, какой-то благодетель монастыря громко разговаривает по телефону со своим другом – рассказывает, как его не пустили в трапезную: «Ну ладно, меня развернули, а Петя? Я его позвал из Испании на праздник, он хотел в монастыре корпус построить, так ведь и он в трапезную не попал. Петя больше сюда не приедет!» А рядом с ним Наталья, с которой мы познакомились на ступеньках музея – родового дома отца Иоанна, и оказалось, что ее родители живут в Твери и мы с ними двадцать лет знаем друг друга. И понятно, что Наталья приехала сюда вместе с этим человеком, она все пытается его успокоить – весь автобус его слышит. «А пусть слышат!»

Вышли мы из автобуса, я и говорю Наталье: «А ты объясни своему другу, что Петя обещал построить дом Иоанну Кронштадтскому, а не охранникам, которые его попросили постоять за воротами. И матушка не виновата, что в этой глуши у нее маленькая трапезная, слава Богу, что хоть такая есть. Одни архиереи да незваные игуменья и поместились. Ну пусть построит ей большую, чтобы все помещались. Пусть Петя позовет матушку, если сам сюда больше не хочет приехать, да она сама к нему прилетит хоть в Испанию, хоть в Африку, только бы дом построить в обители».

Кажется, Наталья ему все объяснила, это стало понятно, когда нам пришлось тащиться с поклажей вдоль поезда по песку – платформа оказалась короткой, а ее знакомый, увидев меня, неожиданно подхватил мой чемодан и донес его до самого нашего вагона.

И вот едем мы домой в этом уютном купе и не знаем, как оправдать этот комфорт и расходы на нас троих, – поездка-то бесплатная, наша маленькая часовня на это не тянет. И тут в нашем вагоне оказывается отец Николай. Мы его пригласили к себе, а он неожиданно согласился; разговорились, и батюшка рассказал, что готовится фильм об этой поездке, а у него большая скорбь – никто не снял исторический момент вручения им иконы Святейшему Патриарху. Все спустились вниз с лестницы, надо было сверху снимать, а там уже никого не было. «А матушка-то все сняла», – говорим. Как же он обрадовался: и качество-то какое! и увеличить можно! и все детально и четко. На следующий день в Питере нас сразу нашла режиссер фильма, мы передали ей отснятые кадры и поняли, что наше путешествие втроем на одну маленькую часовню теперь оправдано вполне.

Аще не крещен

Диагноз поставили сразу – корь. У взрослых людей эта болезнь протекает очень тяжело. Именно так – сплошняком багровая сыпь по всему телу и температура под сорок. Но ведь прошло уже две недели, а температура все не сбивается даже антибиотиками. Давайте-ка сдадим кровь на анализ.

Никакая это не корь и не краснуха, может, вообще, острый лейкоз. Все показатели зашкаливают, и завтра утром нашу Анечку отвезут в больницу, сначала направят в инфекционную, там посмотрят и скажут: «Это не наша больная», – и переведут в областную, в гематологию, а пока Анечку пособоровали и в который раз причастили. Но человек-то тает на глазах, и врачи разводят руками – похоже, дело совсем плохо. Ну что же, нам никто не обещал длинной и беспечальной жизни, для Бога что двадцать пять лет, что восемьдесят... Наверное, надо ее срочно постригать в мантию, никто не знает, сколько еще осталось, может, уже совсем ничего.

Наступил следующий день – 7 декабря, память великомученицы Екатерины, главный престольный праздник тверского Екатерининского монастыря. Мы, как обычно в этот день, приехали с сестрами в Тверь на архиерейскую службу. На улице мороз, но все-таки Владыка в последний момент благословляет нас пройти вокруг храма крестным ходом с мощами великомученицы Екатерины. Все уже ушли с иконами и хоругвями, с громким пением тропаря, а Владыка все не может отделить от тумбочки ковчег с мощами – прикручен намертво, вот и оказалась у меня возможность, пока я рядом беспомощно стояла, взять благословение на Анечкин постриг.

Через два часа архимандрит Сергей уже был на Орше, а там всё приготовили для пострига, просто чудом: накануне я была в Лавре, дай, думаю, куплю мантии для бабушек. Ну, куплю еще две на всякий случай. А продавщицы предлагают – возьмите еще белые постригальные рубахи. Зачем, думаю, неужели мы не сошьем? Но купила – надо слушаться. А вот, говорят, у нас есть параманы с пришитыми ленточками. Да что ж мы, думаю, сами ленточки не пришьем? И тоже покупаю – за послушание. А ведь не успели бы ни ленточки пришить, ни рубашку сшить. Вот ведь как получилось.

Имя Анечке дали, конечно, Екатерина. Потом мама сказала по телефону, что вся Анечкина жизнь прошла под водительством великомученицы Екатерины, она и в Луге, когда училась в университете, ходила в Екатерининский храм и пела там на клиросе. И любимую подружку ее звали Катей, и она очень хотела ей во всем подражать, и даже упрекала маму: «Почему ты не назвала меня Екатериной?»

Утром мы отвезли нашу новую монахиню в областную больницу, теперь уж будь что будет, Бог даст, поправится.

Потом мы узнали, что Анечка перед болезнью очень соскучилась по своей покойной бабушке и захотела к ней, и стала молиться, чтобы умереть и рядом с ней оказаться. А бабушка – наша оршинская монахиня мать Иоанна – пострижена была в честь святого Иоанна Шанхайского.

Накануне праздника я вспомнила, что иподиакон Вадим привез в Тверь подаренное из Америки облачение со святых мощей Иоанна Шанхайского. Я попросила у него что-нибудь для Анечки, а он привез нам на время все, что у него было. Вот и получилось, что две ночи Анечка наша пролежала под покровом и епитрахилью святителя.

В тот же день мать Тихона рассказала мне свой сон. Она на вокзале с сестрами. Серый такой вокзал. И тут появляется Анечка – мать Екатерина в такой прекрасной одежде, как у блаженной Матроны на иконе в Сретенском монастыре: сплошные цветы, и лицо у нее неземное. Мама ее уговаривает куда-то уехать, а она вся там, ничего не слышит.

Анечка в больнице, но ей совсем не лучше, температура не снижается, багровая сыпь не исчезает. И хуже всего то, что лечат ее наугад – вторую неделю врачи не могут поставить диагноз. Иммунологи сделали свой анализ крови – реакция на красную волчанку положительная. А в больнице этот диагноз не принимают и свой не ставят. Тогда мы срочно вызвали из Ставрополя Анечкину маму и поехали с ней наконец в Лавру к нашему Батюшке, архимандриту Науму. А он выслушал нас и вдруг спрашивает:

– А как ее крестили? Вспоминайте.

– А кое-как, – отвечает мама, – покропили водичкой в общей массе около купели, сунули голову в воду и все.

А еще мама вспомнила, что маленькую Анечку возили в какую-то станицу – грыжу заговаривать...

Кто теперь знает, читали ли молитвы положенные, ей было три года.

– Поторопитесь, – говорит Батюшка, – надо срочно вычитать все закликательные молитвы и крестить ее, непременно с полным погружением, по чину Петра Могилы «Аще не крещен». Прямо в больнице.

– Как, Батюшка? Там же палата на шесть человек. А она лежит, не встает, может, уже умирает...

– Есть такие мешки... Всё, идите. Видишь, сколько еще народу!

Вот и весь разговор.

Спросили мы у отца Иоанна, может, он подскажет, что это за мешки.

– Мы в армии брали пленку, приставляли четыре стола, стулья, как-то закрепляли и крестили солдат так.

И в Интернете ничего подходящего не нашли. Может, бассейн детский? В палату на шесть человек... А время идет.

Тогда взяли мы обычную пленку-рукав, склеили-запаяли один конец утюгом, и получился большой такой мешок метра на два с половиной, и в субботу отправились в больницу с отцом Давидом. Идем вчетвером по больничному коридору, батюшка в облачении, несем пустые баки для воды, чтобы воду после крещения вылить в непопираемое место. Дежурный врач все поняла и сделала вид, что не замечает наш крестный ход: она разрешить не могла, а «заметить» не захотела – хуже не будет, хуже некуда. Спаси ее Господи.

Мы буквально выволокли Анечку из палаты, там совсем напротив оказалась душевая комната, – уложили пленку в ванну, кое-как приспособили и в мешок с трудом зачихнули Анечку. Вода текла медленно, а надо было торопиться, поэтому набралось всего литров сорок, но Анечка – в мешке – оказалась вся в воде, а голову окунали три раза. Когда ее передевали в сухую одежду, я увидела ее красную пятнистую кожу – вся как обгоревшая, по всему телу. «Мне сразу, – сказала Анечка, – после воды стало легче».

Воду из мешка вылили в баки, и мы спустились с ними вниз на лифте.

Часа через три позвонила Анечкина мама: «Сыпь, – говорит, – понемногу исчезает, как будто сползает с лица, груди, с живота».

В воскресенье у нее почти совсем прошла эта страшная красная сыпь. А в понедельник все исчезло совершенно.

В тот же день отец Давид, возвращаясь после службы с Орши, не вписался в поворот и влетел в дерево, разбил машину и стукнулся головой до крови. Похоже, цена вопроса.

О блаженной Любушке

О блаженной Любушке я услышала впервые в начале восьмидесятых годов и с тех пор все мечтала побывать когда-нибудь у нее. Точнее будет сказать, даже и не мечтала.

«Батюшка наш почитает за честь дрова у нее колоть!»

И вот однажды архимандрит Наум, как всегда окруженный по утрам множеством людей, вдруг подозвал меня к себе и познакомил с пожилым почтенным человеком, который стоял, ожидая благословения на дорогу, и сказал: «Вот ты его и проводишь к Любушке, – и сам написал адрес: Сусанино, Шестая линия, 55. – Там найдете».

Оказалось, что этот человек организовывал «двадцатку» для открытия храма в Струнино (то было время, когда государство только-только начинало возвращать первые церкви, а о монастырях еще не было и речи), и Батюшка отправил его к Любушке за благословением и молитвенной помощью.

Мы договорились с ним о встрече на Ленинградском вокзале, и по дороге домой я зашла в Перовский универмаг – что-нибудь купить Любушке в подарок. Тогда еще в магазинах было как-то скромно и тихо. Я шла вдоль прилавков и ничего не могла выбрать, все было не то, ни к чему душа не лежала. И вдруг возле платочного отдела как будто услышала: «Купи мне платочек». И я сразу увидела этот платочек – белый, ситцевый, в мелкий горошек, с синей каемочкой, в каких стоят в церкви старушки.

Дома я приготовила еще несколько подарков – небольшие иконки, редкие фотографии старцев, не помню уже что, но что-то еще, и мы поехали в Ленинград, там на метро добрались до Купчино, сели в электричку на «Поселок», миновали Царское Село, Павловск; вот и Сусанино.

Любушкин дом мы нашли сразу. Отворили калитку, поднялись на крыльцо. Дверь нам открыла хозяйка дома – Люция. И мы не успели еще ничего сказать, как услышали откуда-то из-за перегородки Любушкин голос: «Ой, струнинские приехали!» – а потом уже и увидели в правом, иконном углу комнаты в глубине маленькую согбенную фигурку блаженной Любушки: она словно замерла перед иконами.

Слева от двери стоял стул, и я начала по порядку выкладывать на него свои подарки, и с огорчением слышала из угла на каждую вещь что-то вроде «это не возьму», пока не достала заветный платочек и, уже потеряв надежду, спросила: «А платочек возьмете?» «Платочек возьму», – был ответ; и тут появилась Любушка, вся радость, внимание, вся – любовь и святость, и с тех пор и навсегда к Любушке я шла со страхом и трепетом, потому что здесь было то, чего не бывает уже на свете.

Это была сошедшая с иконы живая святая. И мы все это знали и чувствовали, это невозможно было не понять.

Вот тогда я впервые увидела, как молилась Любушка, – будто писала пальчиком по ладошке – отправляла телеграммы на небо.

Кажется, в тот день она взяла нас с собой в церковь. Или это было в другой мой приезд? Помню, как она ходила вокруг меня и словно давила ногой на полу невидимых гадов, тихо приговаривая: «нельзя, нельзя». Тогда она и научила меня сначала прикладываться к иконам, а уже потом подходить к ней со своими вопросами. Она медленно обходила храм, благоговейно прикладываясь ко всем образам, а я – как она мне тогда благословила – шла вслед за ней, потом вдруг обернулась ко мне: «Всегда клади денежку в церкви».

Вот и теперь, в Любушкиной часовне, я сначала покупаю свечи и ставлю перед иконами и только после этого встаю на колени перед ее белой гробницей.

Однажды, когда я собиралась в Сусанино с какими-то своими очередными бедами, моя любимая подруга Татьяна наказала мне просить у Любушки святых молитв, чтобы решился вопрос, как ей дальше строить свою жизнь. У нее как-то все зашло в тупик, ее духовник, отец Венедикт, уже измучился с ней. Вроде решили наконец, что она поедет в Ригу, в монастырь (а тогда женские монастыри были только «за границей» – Рига, Пюхтицы, Корец...). Она поехала брать билеты и по дороге упала и сломала руку.

«Ну, тогда сиди дома. Не знаю, что с тобой делать», – огорчился ее батюшка. Тут она и попросила меня замолвить словечко блаженной Любушке, чтобы все устроилось по Божией воле.

Любушка, как обычно, записала мою просьбу пальчиком на ладошке – а надо сказать, что подруга моя никогда у Любушки не была.

И вот через две недели она слышит от отца Венедикта: «Все, решено. Поедешь в Дивеево и будешь там жить».

И поехала она туда работать медсестрой в больнице, молиться и ухаживать за старенькими дивеевскими монахинями. Купила себе по смехотворной цене крохотный домик рядом с ними, и я до сих пор радуюсь, что в этот домик отправились к преподобному Серафиму какие-то мои вещички-коврики да старенький холодильник.

Так появлялись в Дивеево первые сестры. Через год я снова приехала к Любушке.

Сколько людей побывало у нее за это время! Сколько бед и сколько просьб!

А ведь я никогда не была особенно близким для нее человеком, сотаинником или духовным чадом. Я как-то всегда боялась слишком занять ее драгоценное время или слишком обременить чем-то. Бог давал всегда чувствовать огромную дистанцию между нами.

Но близким для нее человеком, думаю, я никогда не была. Тем более удивительным было то, что через год она неожиданно среди разговора вдруг спросила: «Ну как там твоя Татьяна, которая сейчас у преподобного Серафима?» А ведь я и забыла поблагодарить ее и, конечно, ничего не рассказала ей, как все устроилось в тот раз по ее молитвам.

Кстати, потом я узнала, почему Любушка отказалась тогда от всех моих икон и фотографий: она особым образом молилась каждому святому, чья икона была у нее в иконном углу. С каждым таким подарком был связан молитвенный труд еще и за всех, кто ей что-нибудь дарил, и каждый такой подарок непомерно усугублял этот труд.

Как-то раз она подвела меня к столику возле окна и показала лежащие там иконочки, открытки, святыньки и назвала имена всех, кто ей что-нибудь подарил, по порядку.

Помню, какой радостью было доесть какой-нибудь кусочек, который оставался от ее нехитрого обеда, и она сама пододвигала ко мне поближе то свою тарелку с остатками супа, то корочку хлеба, то остатки какой-нибудь каши...

Обычно Любушка благословляла нас перед отъездом непременно побывать у блаженной Ксении и Иоанна Кронштадтского.

Уезжая, мы обязательно брали у нее благословение на дорогу, и билеты на поезд всегда появлялись, даже если их вообще не было ни в одной кассе на несколько дней вперед.

Вспомнился мне рассказ одной моей подруги, как она приехала к Любушке с молодым человеком, к которому у нее тогда была сердечная привязанность. По всему было ясно, что нет воли Божией на замужество, но надо было определиться окончательно. С этим и приехали в Сусанино ближе к вечеру. Пока Любушка говорила с моей подругой, молодой человек ждал в коридоре и, казалось, прикорнул на табуретке. Любушка взяла ее за руку, повела в коридор и показала на него: «Он хороший, он молится. Будет священником. Хорошим священником».

Сразу стало понятно, что вопрос решен. И они были оставлены в домике до утра.

Будущему священнику благословили ночевать на террасе, а ее Любушка положила на кровать, которая стояла за перегородкой рядом с иконным углом, напротив своей кровати,

над которой ей запомнилась большая черно-белая фотография Серафима Вырицкого. Потом Люция подарила ей такую же.

Справа от нее – Любушкины иконы, слева – печка, а в двух шагах напротив – Любушка. Разве она могла заснуть! Любушка тихо говорила ей: «Спи, спи». А она все-таки открывала глаза иногда и все время видела, что Любушка сидит на краешке кровати напротив нее и молится – в ситцевой ночной рубашечке, набросив на спину одеяло. То чулочки поправит, то в одеяло закутается...

Утром Любушка благословила их окучивать картошку на огороде возле дома и ушла на службу. Все утро в доме напротив играла веселая музыка, но как только ближе к полудню появилась Любушка, сразу все стихло.

Когда они вернулись из Сусанино в Ленинград, их друзья попытались через своих знакомых купить им обратные билеты, но это оказалось невозможным – билетов не было ни на завтра, ни на послезавтра ни по какому знакомству.

Тогда моя подруга просто взяла и отправилась за билетами сама. Весь зал был заполнен народом: это были длинные извилистые очереди, которые тянулись к каждому окошку. Но как только она вошла, к ней сразу же подошел человек и предложил билет на завтра на Москву. Ей пришлось все-таки занять очередь, чтобы взять второй билет, но тут же подошел еще один человек, тоже с лишним билетом. Поезда шли один за другим и именно так приходили в Москву, как было нужно, чтобы им вовремя каждому успеть на свою работу.

Так они приехали к Любушке на одном поезде, а возвращались от нее разными поездами.

Помню ее всегда в одной и той же одежде, в простой широкой юбке и ситцевой или байковой кофте навыпуск – так одета блаженная Ксения на всех иконах.

Как же хорошо было рядом с ней!

Кто говорит, что ничего нельзя было понять, – только через хозяйку-«переводчицу»! Ничего подобного. Да, действительно, она часто что-то лепетала на неведомом своем ангельском языке (но тут никакая переводчица и не помогла бы – бесполезно), и вдруг пронзительно и с любовью взглянет на тебя и скажет все что нужно, и никогда ни одного лишнего слова, каждое – на вес золота.

Еще вспомнился рассказ моей хорошей знакомой, Надежды.

В один из своих приездов в Сусанино она как-то увидела, что блаженная Любушка стоит во дворе возле веревок, на которых сушатся три ее ситцевых рубашечки. Надежда поняла, что она их караулила: «Любушка, зачем ты их сторожишь, кому они нужны? Пойдем домой!» – «Нельзя, злые люди унесут». Но все-таки Надежда уговорила Любушку, и когда они вернулись снимать высохшие рубашечки, оказалось, что одной из них не хватает, – ее все-таки унесли.

И вот, вспоминает Надежда, Любушка протянула руки и заплакала: «Архангел Михаил! Архангел Михаил! Верни мне рубашечку! Верни мне рубашечку, Архангел Михаил!»

И тут, на глазах у Надежды, появилась в руках у Любушки та самая рубашечка, слетела с неба. Она их сложила аккуратно, все три, и понесла домой.

Помню, как я переживала, когда уходила в монастырь; уже было принято решение, и, как всегда, когда предстояло что-нибудь важное, поворотное в жизни, Батюшка отправил меня к Любушке, наверное, за подтверждением решения и за молитвенной помощью и благословением.

Так и жили мы тогда между Батюшкой и Любушкой, как по радуге ходили. И это было для нас естественно – «обыкновенное чудо».

«Ничего не бойся, не смущайся, иди в монастырь, и родители так быстрее к вере придут», – сказала она мне в ответ на мои переживания о, можно сказать, некрещеных моих родителях, которых я оставляла в Москве (по горячности веры я их сама недавно покрестила по краткому, «мирскому» чину, ваткой, но они не были миропомазаны, да и верующими тогда еще не были).

Молился о них Батюшка, молилась блаженная Любушка.

На 9 марта намечен был мой отъезд в монастырь. А 8 марта я в последний раз, уже безнадёжно (после нескольких в ответ резких отказов), спросила маму, которая не подозревала еще, что ждет ее завтра, не хочет ли она креститься, и вдруг услышала невероятное: «С удовольствием!»

А вскоре она уже стала приезжать ко мне в Коломну, и даже как-то получила послушание – чистить подсвечники в храме Ксении блаженной, и по-детски радовалась, когда матушка хвалила ее за хорошую работу.

Так что теперь я каждый год 8 марта поздравляю маму с праздником – днем ее полного крещения, миропомазания и первого причастия.

А потом и отец постепенно обрел веру, покрестился, повенчался с мамой, и через несколько лет тяжкой болезни, которую он безропотно переносил, мирно отошел от сей многотрудной жизни, надеюсь, в светлые обители.

Прошло почти три года моей монастырской жизни, и вот к концу третьего года так овладела мною «охота к перемене мест», так враг буквально начал гнать меня за ворота, что когда я в таком «разобранном» состоянии появилась у Батюшки, дерзновенно предлагая ему свои варианты моей будущей жизни, Батюшка горестно посмотрел на меня и отправил к Любушке: «Как она скажет», – почти смирившись с тем, что придется определить меня в другой монастырь.

Как обычно, вокруг Батюшки было очень много людей, и он выбрал еще троих из окружающих его: это была монахиня Никона из Рижского монастыря и мои хорошие знакомые Кира и Надежда.

«Вот все вчетвером и поедете. И будет у вас монашеское купе».

Монахиней из нас четверых тогда была одна мать Никона.

На Ленинградском вокзале у билетных касс мы отстояли огромную очередь. Какое там купе – едва взяли билеты в общий вагон. А когда сели в поезд – ужаснулись, сколько народу толпилось в нашем вагоне, – оказалось, что на каждое место было продано по два билета.

Сначала решили смириться и как-то дотерпеть это все до утра. А потом подумали: раз сказано, что будет монашеское купе, значит надо его найти. И мы, оставив с вещами мать Никону и Киру, пошли с Надеждой по вагонам.

В следующем вагоне было пусто. Ни одного человека. Грохочущий тамбур. Еще вагон – опять пустой. И так – вагон за вагоном.

Все пустые. «Поезд забронирован», – объясняют проводники, и все отказывают нам в приюте. А мы идем и идем, пока не дошли до последнего – тоже пустого – вагона. И уже отчаявшись, просим проводницу смилостивиться над нами:

– С нами монахиня, ну как же она в такой давке поедет!

– Да приходите, приходите, жду. Я вам пока чай приготовлю.

Выдали нам постели, напоили чаем, и поехали мы вчетвером в совершенно пустом вагоне. И получился у нас монашеский вагон вместо монашеского купе. Даже, как теперь выяснилось, игуменский: и мать Никона, и Кира, и я, недостойная, теперь игумении монастырей, а Надежда пока размышляет, к какому берегу плыть.

Еще почему-то запомнилось, как уже на вокзале, в Ленинграде, мать Никона попросила меня купить огурцов – шел пост, надо же что-то есть, а я, увидев, сколько они стоят, как-то мало их купила – тогда только начиналась перестройка, и мы, монастырские, через несколько

лет жизни за оградой чувствовали себя в магазинах как отроки эфесские – так нам трудно было научиться ориентироваться в новой системе постоянно растущих цен.

Ведь для нас с детства – и, думалось, навсегда – спички стоили одну копейку, а яблоки – рубль тридцать килограмм. Почему-то я запомнила, как потом переживала свою ошибку, все хотелось купить еще огурцов и привезти Любушке, а они уже по дороге больше не попадались. Кажется, в тот день я и научилась обращаться с этими новыми – меняющимися – деньгами.

Мать Никона ехала к Любушке с вопросом, принимать ли ей послушание стать настоятельницей вновь открывающегося Шамординского монастыря. Моя знакомая Кира заканчивала Московский университет и собиралась поступать в монастырь. Третьей из нас, Надежде, должны были вскоре делать операцию – у нее что-то случилось с глазами. В поезде ей приснилась Любушка и пригрозила: «Я тебе дам операцию!»

По дороге мы разговорились с матерью Никонией, и она, услышав мою невеселую историю, вдруг сказала: «А знаешь, так Богу нужно. Так бывает иногда, когда совершаются промыслительные вещи». Это меня хоть немного успокоило.

Вскоре мы уже стояли в Сусанино, в Казанской церкви, и по очереди подходили к блаженной Любушке.

Мать Никона получила благословение принимать новое послушание.

Кира – я случайно услышала то, что было ей сказано, так как оказалась рядом, – Кире Любушка сказала: «Игуменьей будешь. Хорошей игуменьей».

А мне: «Поживи пока». «Поживи пока» – был ее ответ мне, и что таилось за этими ее словами, было тогда совсем непонятно. Одно было понятно: что надо ехать назад и терпеть – терпеть свою немощь, терпеть все скорби, которыми неизбежно исполнена жизнь любого новонаначального, тем более уже немолодого человека, а значит, не обладающего душой юношески гибкой и неизломанной укоренившимися страстями. И сколько продлится это «пока» – может быть, до холмика.

«Все! И чтобы полгода ко мне не приезжала!» – услышала я от измученного моими метаниями старца, когда привезла ему ответ от Любушки.

За эти полгода у меня в жизни изменилось все. Что-то случилось с душой за это «пока», и появилась спокойная радость, когда не страшно стало даже умереть на послушании. Не страшно не успеть прочитать непрочитанные книги, не услышать долгожданные лекции, вместо которых месить бетон под палящим солнцем и пытаешься при этом учить наизусть Псалтирь – и не понимаешь, как же случилось, что так тихо и радостно внутри и так близко небо, хотя и труд не по силам, казалось бы...

И ничего внешне не изменилось, а только вместо бури – тишина и какой-то постоянный внутренний свет.

Вот тут, чтобы душа не слишком воспарила и не залетела бы в какую-нибудь прелесть, Господь и управил так, что с этого самого фундамента – прямо от бетономешалки – отвели меня «под белы ручки» во град Тверь – восстанавливать из руин древний пустынный монастырь, настоятельницей которого была неожиданно назначена моя теперешняя подруга – та самая Кира, с которой мы приехали к Любушке в монашеском вагоне. «Тверь – хорошо!» – услышала она от Любушки, когда вскоре опять оказалась у нее, чтобы спросить о грядущих переменах в своей жизни.

Полгода продолжалось Любушкино «пока», те самые полгода, когда закрыта была для меня дорога в мою любимую Лавру.

Оказавшись в Твери, мы иногда приезжали в Вышневолоцкий Казанский женский монастырь и там познакомились с одним из благодетелей этой обители, который рассказал нам свою историю. Он был каким-то важным человеком в областной администрации, дела шли успешно, как вдруг заболел, да так, что к блаженной Любушке его привели на костылях. А ушел он от

нее своими ногами. И с тех пор возымел великую к ней веру и стал еще больше помогать монастырю, благодаря которому оказался у Любушки. И даже построил вокруг монастыря огромный забор – бетонную стену. А вскоре всю Тверь потрясло известие о том, как прямо на коляску с младенцем рухнула старая красного кирпича стена в центре города, вдоль которой гуляла женщина с ребенком. В коляске была его внучка. Так враг отомстил ему за благодеяние обители. Но дивным образом, молитвами блаженной старицы, ребенок уцелел, хотя и пришлось потом его долго лечить, вспоминает теперь протоиерей Владимир – бывший раб Божий Владимир, благодетель монастыря.

Прошло еще несколько лет, и вдруг мы узнаем, что блаженная Любушка – в Николо-Шартомском монастыре. Несколько раз Батюшка благословлял меня побывать у нее там с разными монастырскими вопросами. А потом она уже оказалась совсем рядом, в Казанском монастыре, в Вышнем Волочке, и, памятуя библейские строки «аще обрел премудрого, обивай пороги кельи его», я уже старалась бывать у старицы как можно чаще.

«Ну что ты все ездешь, без тебя, что ли, людей у нее мало», – сердилась ее келейница, но я, с Божьей помощью, всегда попадала к Любушке, а она уже сама пододвигала ко мне поближе свою тарелку с остатками каши.

«Какой хороший крестик!» – и вдруг стала часто-часто целовать мой настоятельский желтый крест. Так я и не поняла ничего, крест как крест, такой же, как и у всех.

– Любушка, что мне надо изменить в своей жизни? На что обратить внимание?

– Покаяние и поклоны.

– Любушка, а сколько осталось до конца, чего нам ждать?

– Верхи гуляют. Молись за гулящих, – скорбно ответила она.

Однажды приходит ко мне матушка Вероника, супруга священника, который служил тогда в Екатерининском монастыре, и просит найти ей в Москве хорошего детского невропатолога – в Твери никто не может вылечить ее полуторагодовалого мальчика. Ребенок ходит на полусогнутых ножках – они у него до конца не разгибаются. Родовая травма.

– Матушка, – говорю, – подождем с невропатологом, поезжайте-ка в Вышний Волочек к блаженной Любушке, она там недавно появилась. А уж если она не поможет, тогда и поедем к врачам.

И вот взяла матушка Вероника всех своих четверых детей, младшего под мышку, и с автобуса на автобус добралась до Казанского монастыря. Поднялась на второй этаж. Дети остались в коридоре, даже, кажется, на лестничной площадке, а она – у Любушки в келье пробыла четыре часа. О чем они там говорили, осталось для меня тайной. Знаю только, что Любушка ее накормила, и даже положила на свою постель, и много-много ей всего сказала, в том числе и о том, что ее, эту матушку, в будущем ожидает. А когда она вышла из Любушкиной кельи, по коридору бегал ее мальчик, подбрасывая ножками, как будто в футбол играл, – куда девалась болезнь! И еще знаю, что с тех пор никого для матушки Вероники дороже Любушки на этой земле нет.

Как-то раз в Тверском Екатерининском монастыре испекли вкусный отрубной хлеб, и матушка настоятельница отправила с этим огромным хлебом в Вышний Волочек к Любушке Елену, сестру одной своей инокини.

И вот сидит та на диванчике в коридоре возле Любушкиной кельи и ждет, когда ей разрешат войти, – а пока нельзя, Любушка в келье обедает. А через дверь доносится ее разговор с келейницей, точнее, громкий голос келейницы: «Какой хлеб, Любонька? Нет у нас никакого другого хлеба! Только этот вот, на столе, да нет никакого другого хлеба!»

А когда Елену пригласили и она отдала Любушке монастырский хлеб, Любушка положила его на свою подушку, села на кровать и гладила его рукой, как ребенка по голове, что-то лепеча небесным своим языком.

Она все чаще грелась в келье возле печки – то спиной, то боком, то животом прислонится к теплой стене большой белой вышневолоцкой печки: они там особенные, таких я больше нигде не видела.

Однажды пришел к нам наш знакомый, Николай, простой, работающий, глубоко верующий человек, у которого попала в беду жена: начальница по работе (и родственница) уговорила ее подписать пустые бланки приходных ордеров: «Тебя завтра не будет, мы их сами заполним». А потом выяснилось, что через эти бланки начальство воровало казенные деньги, а все списали на нее.

Дело было практически безнадежным, тюрьма уже маячила своими решетчатыми окнами.

«Все обойдется», – сказала Любушка и посоветовала, как им исправить свою жизнь. И все обошлось, как всегда. Потому что ее молитвы шли прямо на небо. Надо было только добраться до этого самого порога, а там уже все устраивалось по Богу: и кривые пути выпрямлялись, и хромые ходили, и глухие слышали, и слепые видели.

В другой раз, после очередной встречи с Любушкой, я уже выходила из ворот Казанского монастыря, как вдруг услышала, что бежит за мной Любушкина келейница и кричит:

– Мать Евпраксия! Мать Евпраксия! Иди скорее, Любушка зовет. Говорит: «Догони ее и проси – у нее две лошади есть».

А лошадей-то у нас в монастыре нет. Был когда-то Орлик, но его давно убили, от него в овраге нашли одни копыта. Есть два трактора, но это вряд ли, да и жалко их отдавать. Но если Любушка говорит, что лошади есть, значит они есть.

И вспомнила – год тому назад протоиерей Олег Чайкин позвонил нам из Ржева и предложил подарить двух лошадей. А мы его попросили поддержать их у себя, пока не построим конюшню, и благополучно обо всем забыли.

– Звоните, – говорю игумении Феодоре, – во Ржев, там наши лошади.

Позвонили. Действительно, живут там наши лошади и ждут.

– А мне все равно, – отвечает отец Олег, – кому дарить лошадей, вам или в Волочек. Присылайте машину.

И поехали эти две лошадки к Любушке и перепахали весь монастырь. То-то все там у них растет, как на Украине, и словно не несколько сестер в монастыре, а сто человек, и все на грядках.

Зато стало понятно значение любого обещания: слово сказано и на небесах записано, и это уже не твое, а тому принадлежит, кому здесь обещано. Вот так «Господь намерения целует».

Помню ее в храме – в домовый церкви Казанского монастыря, всегда у Казанской иконы, а еще – как подолгу стояла она у Чаши со Святыми Дарами и причащалась медленно-медленно, а батюшка с Чашей в руках терпеливо ждал, пока она что-то тихо лепетала и как бы любовалась Святыми Дарами и говорила с Ними на своем ангельском языке, – это было что-то великое, непостижимое. Стоишь затаив дыхание и смотришь на нее издалека и благодаришь Господа, что сподобил тебя быть свидетелем этого чуда.

Потом она заболела.

«Надо что-то делать, Любушка! Может, я Вам хороших врачей привезу?»

А она вдруг отошла от меня, встала в левом углу комнаты лицом к стене: «Не вози ко мне мужиков, у меня Яков есть».

Любушке становилось все хуже и хуже. Первого сентября мы узнали, что Любушка наша лежит в 4-й городской больнице после тяжелой полостной операции.

Врача, который ее оперировал, звали Яков. Рассказывали, что к нему даже страшно было подойти после операции, он очень переживал, был весь белый как полотно – ведь Любушка попала на операционный стол только через три недели после того, как у нее случился заворот кишок, в животе было что-то ужасное, кишки уже лопались, начинался перитонит.

Батюшка сразу отправил к ней своих духовных чад, они на следующий день были уже в Твери, и мы поехали в больницу. Нас пустили в реанимацию, и архимандрит Ефрем причастил там блаженную Любушку и отслужил водосвятный молебен.

А потом потянулись мучительные дни ее тяжелой болезни. Тверские сестры дежурили возле нее и делали все что могли. Так Господь сподобил нас немного послужить Любушке хотя бы в последние дни ее земной жизни.

Прошло два-три дня, и доктор сказал: «Ну вот и все, кишечник остановился, это конец». И мы с игуменией Иулианией на ночь глядя поехали в Лавру просить святых молитв нашего старца. Но вечером нам уже ничего не удалось ему сообщить, сколько ни ходили мы возле проходной, а когда рано утром оказались у него в приемной, сразу услышали: «Две монашки под окном пели поздно вечером». И дал нам бутылочку с маслом от тридцати святынь, с очень сильным ароматом розового масла, чтобы мы растерли им Любушке все тело.

Когда мы днем вернулись в больницу, врач сразу сказал нам, что произошло невероятное, – ночью у Любушки заработал прооперированный кишечник.

Она и выглядела уже по-другому. Накануне была совсем бледная, осунувшееся измученное лицо, заострившийся нос, а тут – щеки розовые, лицо опять округлилось.

В палате у Любушки была уже игумения Феофания, настоятельница Московского Покровского монастыря. Святейший послал ее проведать Любушку, передал, что вынимает за нее частицу.

И вот мы с пением Трисвятого бережно помазали Любушку всю, с ног до головы, Батюшкиным розовым маслом, и когда я помазала ей лицо, она тихо сказала: «Хватит». Как же мы не понимали тогда, что происходит, все надеялись на исцеление! И все очевидные указания на ее неизбежную скорую смерть были закрыты, мы их не видели – или не хотели видеть. Одна была цель – что-то сделать, чтобы она еще пожила. Вот так бывает закрыто зрение – на очевидные, казалось бы, вещи.

Между тем наши монастырские дела все-таки продолжались, и именно в эти дни мы вдруг узнали, что хозяйка соседского дома, купленного нами за двадцать миллионов (а тогда вместо тысяч были миллионы) в прошлом году, вовсе и не собирается никуда уезжать из Екатерининского монастыря, пока мы не принесем ей еще двадцать, потому что дом на острове Залит, куда она хочет переехать к отцу Николаю, стоит ровно сорок.

Надо было что-то решать, денег у нас никаких не было, и с какой стати: ведь то, что мы у нее купили, не стоило и двадцати. Да и те насобирали каким-то чудом. И мы заодно спросили у Батюшки, когда он давал нам для Любушки бутылочку с розовым маслом, как же нам быть.

«А вы поезжайте на Залит к отцу Николаю. Как он скажет, так и поступайте. И попросите его помолиться о Любушке, может, она еще поживет».

Из больницы мы поехали на вокзал и на следующее утро были уже в Пскове.

Вот и речная заводь, откуда мы поплывем на остров Залит, – легендарное место, о котором мне еще лет десять тому назад много рассказывал отец Алексей Царенков, да еще и приговаривал: «Кто без благословения туда поплывет, может и утонуть. Бывали такие случаи».

Благословение у нас было. Но мотобот, в который мы уселись, оказался в воде по самые кромки бортов, а тут еще волнение поднялось на озере, как только мы выплыли из тихой реки.

Озеро огромное, другого берега не видать, так и называют его – Псковское море.

«Не шевелитесь. Мотобот переполнен», – отчетливо произнес моторист. Вот уж пришлось помолиться святителю Николаю! Было очень страшно, но, с Божьей помощью, доплыли, все пассажиры мотобота быстро пошли в одном направлении, и мы поспешили за ними и вскоре оказались во дворе дома отца Николая.

Двор вытоптан и утрамбован сотнями ног до состояния асфальта – ни травинки, одни деревца. Стоим и ждем.

И вот открывается дверь. Точнее, приоткрывается. Выглядывает батюшка отец Николай, обводит нас взглядом: «Здравствуйте, мои дорогие. Ну, Ангела Хранителя вам на дорогу». И скрывается за дверью.

И что же теперь делать? Это все?

А через какое-то время снова открылась старая крашеная дверь, и Батюшка вышел на крыльцо. В одной руке у него прозрачный пенициллиновый пузырек с маслом, а в другой – большая разогнутая канцелярская скрепка. Глянул на нас всех и запел:

Прошел мой век, как день вчерашний,
Как сон, промчалась жизнь моя,
И двери смерти, страшно тяжки,
Уж недалеко от меня.
Вы простите, вы простите,
Друг и ближний человек.
Меня, грешного, помяните
Ухожу от вас пока не навек.

Говорят, что иногда Батюшка пел эту песню со словами «Ухожу от вас навек», и тогда все начинали плакать, а он говорил: «Ну ладно, ладно, пока не навек».

Тут мы испугались, что сейчас он снова уйдет и закроет дверь, и я как-то дерзко сразу к нему подошла, уже без очереди, и поняла по его лицу, что это его покорило, и сама сразу смутилась и стала просить прощения за свою выходку и услышала: «Ну, говори, что у тебя».

Сначала я попросила его святых молитв о блаженной Любушке. А он ответил: «Это уже не мой вопрос». И опять я сразу ничего не поняла – все надеялась, что она еще поживет.

Потом спросила, как быть с деньгами за дом, а он в ответ сказал:

– Ну, добавьте, добавьте. Пусть она купит домик-то.

– Благословите, – говорю, – Батюшка, просим Ваших святых молитв, чтобы это получилось, ведь денег у нас совсем нет.

– Езжайте-езжайте, не задерживайтесь, а то опоздаете, – проводил нас старец и перед этим внимательно помазал скрепкой из флакончика.

Времени до отправления мотобота оставалось еще несколько часов (он отплывал от пристани в три часа дня). И мы зашли к Батюшкиной келейнице, с которой были хорошо знакомы, на чашку чая.

Когда мы с ней в полтретьего не спеша подошли к пристани, то увидели наш мотобот где-то вдали, в волнах Псковского озера. Он удалялся.

Делать было нечего. По берегу бродили два лодочника, оба были навеселе. Мы выбрали наименее пьяного, и он смело поплыл наперерез волнам. Они становились все выше и выше, а я еще не забыла рассказ отца Алексея про то, что бывает с теми, кто по этому озеру плывет без благословения.

Но мы опять остались живы и вернулись в Тверь.

А в воскресенье Любушка объявила голодовку. Она отталкивала всех, наотрез отказывалась от любых лекарств, отказывалась есть – пока ее не отвезут в Казанский монастырь. И только повторяла: «Поедем домой».

«Как врач, я не имею на это права, но как христианин не могу поступить иначе. Она все сделала для того, чтобы мы были вынуждены ее отпустить в монастырь», – сказал нам ее доктор Иаков, когда давал разрешение везти Любушку в родную обитель. Все это время он дежурил около нее по ночам и в воскресенье тоже приехал в больницу. Пока решали, как быть, игуменья София еще раз помазала все Любушкино измученное тело Батюшкиным розовым маслом.

Сообщили в Вышний Волочек. Магушка Феодора тут же отправила в Тверь микроавтобус, а доктор позвонил своему другу, просто поделиться с ним происходящим.

Друг в это время ехал на машине в Шереметьево – у него был билет в Испанию. Другом был тот самый Владимир, который построил стену вокруг Казанского монастыря. Он все выслушал и положил трубку. Потом подумал: «Какая Испания? Любушка умирает». Развернулся и полетел в Тверь на своем шестисотом мерседесе.

Пока мы с игуменьей Иулианией и суздальской игуменьей Софией разбирались, как же донести Любушку до Волочка, черный мерседес уже остановился у дверей больницы. На заднем сиденье постелили Любушке постель. «Сколько градусов установить? двадцать три?» – и Любушку осторожно уложили и отправили в последнее ее земное путешествие.

Сначала она чуть не плакала: «Поеду домой, поеду домой», – как будто боялась, что ее отвезут в другое место, но на полпути к Волочку успокоилась и стала широко креститься и молиться за доктора Иакова.

Когда мы на суздальской «оке» добрались, наконец, до Вышнего Волочка, Любушка уже полулежала в белой горе подушек на своей кровати и, улыбаясь, тихо пела тропарь «Боголюбивой» и смотрела в окно, из которого был хорошо виден храм Боголюбской иконы Царицы Небесной. Возле нее кружились сестры и пели ей ее любимые песнопения, а мы стояли в дверях и молчали.

- Ничего, все будет хорошо, все обойдется.
- Любушка, у кого?
- У Любахи.

А на пятый день Любушка умерла. Это случилось 11 сентября 1997 года, в четверг. В день Усекновения главы Иоанна Крестителя.

Говорят, все блаженные – Ивановны.

А Любушка и была Ивановна, Любовь Ивановна Лазарева.

13 сентября были похороны.

Мы шли за гробом, много настоятельниц, с цветами. Приехал отец Василий Швец, чудом там оказался: «Дай, думаю, загляну по дороге к Любушке». Вот и заглянул.

Отпевали ее в домовом храме Иоанна Кронштадтского. Два хора, один коломенский, другой шартомский. Я почти ничего не помню – ни сил, ни горя, все было кончено.

Отпевал архимандрит Никон.

Как-то все спокойно было, чинно, по порядку. Только очень было нужно, чтобы она еще пожила, а не получилось.

Похоронили Любушку возле алтаря Казанского собора. День был пасмурный, но солнце пробилось сквозь тучи, когда начали служить литию у гроба, возле могилы. Многие видели, как солнце играло.

Надо, наверное, рассказать еще о том, что в храме я как-то оказалась вдруг у самого гроба и, ухватившись за него, все говорила с ней, как с живой, и еще попросила помочь нам выполнить благословение – найти эти десять миллионов. Больше не нужно – дом на острове теперь стоит не сорок, а тридцать пять. А еще пять мы наберем, наверное, финскими марками – матушкина мама приезжала недавно из Финляндии и привезла финских марок еще примерно на пять.

Попросила у Любушки прощения за свои неуместные просьбы, да и забыла об этом.

На следующий день было воскресенье. Литургия в нашем пустынном монастыре – в храме никого, кроме нескольких сестер, холодно и бесприютно как-то. И вдруг появляется человек, которого я увидела тогда второй раз в жизни (в первый свой проезд он совершенно случайно оказался у нас – заблудился, познакомился с нами, осмотрел собор да и уехал сразу).

– Я вчера вечером сидел у телевизора и вдруг подумал: зима приближается, надо им помочь. Вот, возьмите! – и протянул мне упакованную крест-накрест пачку. На упаковке написано: «10 миллионов». А одиннадцатый он положил в «ящик» и сразу уехал. Потом мы узнали, что это его манера. И что это были последние его большие деньги. Только через несколько лет приручили мы Снегирева, наконец, оставаться у нас иногда на трапезу.

Вечером, уже в Твери, мы посчитали финские марки – их оказалось, конечно, не на пять миллионов, а на четыре – ведь одиннадцать у нас уже было. И мы успели, с Божьей помощью, отправить нашу соседку на Залит с последним паромом.

Прошло несколько лет, и вот однажды, одиннадцатого сентября, мы встретились в Вышнем Волочке с бывшей Любушкиной келейницей Раисой. Она очень изменилась, из крепкой и властной превратилась в худенькую и тихую. Мы вместе поехали с ней в Тверь, а она по дороге рассказывала мне о Любушке: «Любушка родилась в 1912 году примерно в сорока километрах от Калуги. Отец Любушки был церковным старостой, в семье было шестеро детей. Братьев ее звали Николай, Алексей, Василий, Петр и Павел. У Любушки были четыре тети, все четверо очень благочестивые, “вековые девы”.

Зимой они часто ездили в Оптину пустынь молиться и брали с собой Любушку, а летом все занимались огородами.

Когда Любушке было пять лет, умерла ее мама; отец умер, когда девочке исполнилось двенадцать. После смерти отца Любушка переехала в Петербург к старшему брату Алексею. И вот, по послушанию Матери Божией Казанской, Любушка начинает странствовать в землях Вырицких. Где только она не жила – в подвалах, в срубах домов!.. Тогда и сподобилась она дара прозорливости от Господа. А во время войны Любушка ушла пешком в Краснодарский край, и там она тоже странствовала. Почти всегда раздетая, в рваненьком. Ведь все, что привозили ей, шло в монастыри, в храмы. И по молитвам ее Господь исцелял смертельные болезни. Вот я перед вами живой пример, я была неизлечимо больна, когда познакомилась с Любушкой.

Господь исполнял любую ее просьбу – Любушка вымаливала каждого человека.

В Сусанино, напротив ее дома, жили немолодые люди, они выпивали. Любушка как-то стала просить у них кусочек хлеба: “Просила-просила, а они не дали. Я хотела за кусочек хлебца их души спасти, – сказала она потом. – Господи, она мне дала хлебца, она мне дала булочку, прости их и спаси!”

Любушка всегда старалась быть в тех местах, где нужна была ее помощь. “Ой, надо, Раечка, нам с тобой в Питер поехать. Как там плохо! Там батюшки уходят. Я должна ему помочь” – это было время, когда сменился митрополит на Питерской кафедре.

О себе она как-то сказала: “Я, Любушка, нищая Христа ради”.

Ботики у нее суконные, подошва тонкая как газета. Я хоть травки туда напихаю, а она ее выбрасывает.

– Любонька, ну зачем ты так себя мучаешь?

– Нельзя. Боженька не услышит.

А когда вымолит чей-то грех, уже в лежку лежит.

В Шартоме Любушка как-то сидела на кровати и вспоминала по именам всю свою родню.

– А как же ты оказалась такая?

– А у меня, – отвечает, – по родству, по матери, очень благочестивый род. Четыре тети – вековые девы, возили меня в Оптину.

– Ой, Раечка! – как-то воскликнула она. – Если бы ты могла видеть, что делается!

Ей было открыто все, что делается в мире.

Однажды она вошла в Никольский собор, и сказала: “Николай Чудотворец и Иоанн Кронштадтский живые, ходят по храму”.

Рассказывали, как один архимандрит в бытность свою диаконом во Владимирской области приехал в Казанский храм и попросил разрешения там послужить. Посмотрел он на Любушку – старенькая, маленькая: “Ничего я в ней не нахожу”. Только подумал так, как вдруг увидел: Любушка стоит на воздухе, выше всех людей, и молится.

А одна девушка собиралась замуж, уже и свадьба была назначена. Но она успела приехать за благословением к Любушке, и что же она услышала? “Ой, как хорошо в монастыре. Как хорошо”. Теперь эта девушка – игумения большого Московского монастыря.

Перед смертью Любушку в монастыре причащали три дня подряд. Уже пошли у нее по телу черные пятна. Вот она лежит и стонет, а все водит пальчиком по кровати – молится! И вдруг – гляжу на нее – она лежит беленькая, вся сияет, никаких пятен нет, смотрит в потолок и улыбается. Кожица вся натянулась, стала розовая, больше семнадцати-восемнадцати лет и не дашь!»

Много еще всего рассказывала тогда Раиса, но еще не время об этом писать, а может, и не надо.

Вспомнился мне еще рассказ матушки Вероники, полуторагодовалого сына которой исцелила Любушка.

Вскоре после блаженной кончины старицы матушка Вероника рассказала мне, как 2 сентября девяносто седьмого года, вечером, пришла она на вечернюю службу в Вознесенский собор в Твери и увидела нас с игуменией Иулианией у святых мощей владыки Фаддея. Был как раз канун памяти небесного покровителя владыки Фаддея, святого апостола Фаддея, и мы, конечно, как могли молились у его святых мощей о блаженной Любушке – как же иначе, если ей только что сделали операцию. Так вот, она ясно увидела, что стоим-то мы втроем, что между нами – сама блаженная Любушка.

Матушка Вероника, говорит, еще тогда очень удивлялась: «Ничего не понимаю – Любушка в храме, и никто к ней не подходит». Но и сама на это не осмелилась, постояла в стороне да и ушла домой, к детям, и только потом уже узнала, что Любушка в это время лежала в реанимации.

Недавно одна знакомая инокиня рассказала мне о своей поездке к блаженной Любушке: «В начале февраля 1992 года я гостила в Пюхтицах и уже собиралась уезжать, но пюхтицкие сестры начали меня уговаривать остаться в монастыре, я уже и не знала, что же мне делать. И вот собрались они как раз в эти дни, несколько человек, к блаженной Любушке в Сусанино и мне предложили поехать вместе с ними. Но неожиданно, как это часто бывает в монастырях, поездка их отменилась, и я поехала к Любушке одна, а сестры передали со мной приготовленные для нее сумки: там были молочные продукты и хлеб. Еще у меня были для Любушки письма от Пюхтицких сестер.

В Пюхтицах говорили, что половина сестер в монастыре – отца Наума, а другая половина – отца Кирилла. “У тебя монашеское лицо, – сказала мне одна из сестер, – иди в монастырь. Тебе надо съездить к отцу Науму”. Она его очень уважала, от нее я и услышала впервые имя Батюшки. Она же меня и отправила к Любушке.

Я доехала на автобусе до Ленинграда, а дальше на электричке до Сусанино. Отправили они меня рано утром, а приехала я в Сусанино, когда уже совсем стемнело. Нашла Любушкин дом – обычный деревянный дом за низеньким забором. Меня встретила женщина, Лукия Ивановна, и сразу провела в комнату. За круглым столом ближе к окошку сидели уже Любушкины гости. А Любушку я сразу не увидела, она была за перегородкой. Лукия Ивановна сказала Любушке, что Пюхтицкие сестры передали ей продукты. Вышла Любушка – маленькая, худенькая. Мне запомнились ее руки – очень молодые: длинные тонкие пальчики, длинные ноготки.

Любушка как начала плакать: “Зачем они мне все это принесли, у них у самих ничего нет”, – а тогда у них еще все было.

Потом сели за стол, и хозяйка говорила: “Ешь, Любушка, ешь”, – а она все плакала, пока мы ели.

Было уже поздно, и нас сразу уложили спать. Меня определили на печку за перегородкой, напротив блаженной Любушки.

Любушка сидела на своей кровати – кровать у нее была высокая, и Любушкины ножки не доставали до пола. Рядом иконный угол, книжки.

Мы уже легли спать, а Любушка плакала и плакала. Я вся дрожу, а она плачет. Потом я уснула. Я запомнила, как она плакала: она кулачки складывала и кулачками терла глазки. Ночью я просыпалась, а она все плакала. Я видела – у нее в чулках были камешки. Простые коричневые чулки, хлопчатобумажные. Она, сидя на кровати, наклонялась, доставала камешки из чулка и раскладывала их на коленях – маленькие, гладенькие как галька, размером с копеечную монетку. Она эти камешки клала за щеку или вынимала и складывала в чулок (в Иерусалиме есть одна монахиня, она подтвердила, что видела у Любушки эти камешки).

Утром я проснулась, когда все еще спали. Я сидела на печке, а Любушка уже стояла в красном углу с закрытым молитвословом в руках и водила пальчиком по обложке. Потом хозяйка сказала, что она все молитвы знает на память.

Любушкины гости решили все дела и уехали на электричке раньше меня, а я еще осталась, у меня ведь были письма от сестер, да и свои вопросы.

Я зашла к Любушке за перегородку и сказала про письма, а Любушка благословила, чтобы я ей сама их прочитала.

Одно письмо она выслушала, а остальные слушать не стала.

А потом я спросила у нее, поступать ли мне в монастырь или выходить замуж. “А ты сама-то как хочешь?” – спросила меня она. Я ответила, что хочу в монастырь, и сама удивилась своим словам, ведь в то время у меня еще не было никакого твердого решения. Потом она спросила меня, кто я по профессии, и я сказала, что мне остались только выпускные экзамены в медучилище.

“Будешь в Пюхтицах фельдшером. – А потом еще добавила: – Поезжай к отцу Науму, и что он скажет, то и сделаешь”. А я вовсе не знала, кто это такой и где я буду его искать, я же была тогда совсем невоцерковленным человеком.

И что интересно, все было решено, я больше ничего у Любушки и не спрашивала. Помню это движение – пальчиком по ладони. Она стояла маленькая, в платочке, и я стояла. В тот день она уже не плакала. Лукия Ивановна сказала мне, что накануне она весь вечер плакала, потом стала плакать за пюхтицких сестер. А потом, может, и меня оплакивала – такая жизнь у меня была...

Я шла и все думала – как же мне найти отца Наума? Приехала на Карповку к отцу Иоанну Кронштадтскому, приложиться к мощам, спустилась в подземную церковь и вдруг встретила там вчерашних Любушкиных гостей. “Ну, что она тебе сказала?” И узнав, что меня благословили к отцу Науму, решили взять меня с собой – они как раз к нему и собирались ехать.

На следующий день было 5 февраля, у Любушки мы были 4-го. А 5-го – накануне Ксении Блаженной – Любушкина гостя, матушка Татьяна, позвонила Клавдии Георгиевне, и мы поехали к ней домой. Она нас кормила вкусной геркулесовой кашей с брусникой. И много-много нам рассказывала о блаженных Петербурга, про Любушку, но я почти ничего не смогла запомнить. Клавдия Георгиевна подарила мне книжку про митрополита Николая (Ярушевича), духовной дочерью которого она была (она умерла недавно – схимонахиня Клавдия). Позвонила по телефону, спросила, служит ли сегодня Святейший Патриарх на Смоленском кладбище, куда мы собирались вечером на службу. Сказали, что не служит, но мы все равно поехали туда и в пять часов уже стояли на праздничной службе у блаженной Ксении, а после помазания нам нужно было торопиться на вокзал.

Батюшка еще принимал на старом месте, и мы сразу зашли в маленькую комнатку втроем и ждали Батюшку минут двадцать, потом он пришел и стал расспрашивать их о поездке. “А это кто?” – увидел он меня. “У Любушки была”, – я опустилась на колени, и он начал меня исповедовать.

“Поезжай в Коломну, – благословил меня Батюшка, – у матушки Ксении сегодня день Ангела. Надо что-то ей подарить”, – и снял со стены какую-то картину: “Вот ей и передашь”.

Когда я все исповедовала – а мне так было стыдно после этой исповеди! – он повернулся к матушке Татьяне и сказал: “Какая чистая, какая хорошая”, – и мне еще больше стало стыдно за себя. Батюшка подарил мне Псалтирь большого формата в мягкой желтой обложке, потом достал из-под стола мешок, покопался в нем и благословил мне желтые четки. Я плакала, просила разрешения поехать домой (мама ждет!), говорила, что мне нужно еще получить диплом, но Батюшка поручил матушке Татьяне отвезти меня в Коломну: “У матушки спросишь, нужно ли тебе получать диплом”, – и дал мне еще маленькую книжечку-пятисотницу. Так и началась тогда моя новая – монашеская – жизнь. Не все шло ровно и гладко, было, о чем плакать Любушке, но никакой другой жизни для себя я теперь не хочу», – закончила свой рассказ моя знакомая инокиня.

А еще мне рассказывали, что слышали как-то в Сусанино, как Любушка радостно говорила про игумению Ксению, что у нее в Коломне – рассадник монастырей: «Она их рассаживает, как капусту».

Рассказ знакомой инокини о своей поездке в Сусанино помог мне вспомнить, когда же я действительно впервые увидела блаженную Любушку. Это было гораздо раньше, чем в тот наш приезд к ней со старостой струнинской церкви. Я вспомнила один удивительный сон, который после этого рассказа показался мне еще более значимым.

Он приснился мне в самые первые годы моего знакомства с батюшкой Наумом. Однажды летом я поехала на дачу к своей сестре и, весь день провозившись на грядках, легла спать без вечерних молитв. Уже засыпая, я словно увидела вдалеке Батюшку, который как бы обличал меня в лени, но я все равно не встала и не открыла молитвослов. Следующий день закончился так же. Я прекрасно помнила строгий Батюшкин вчерашний силуэт в монашеском облачении, но снова легла спать, не прочитав вечерние молитвы, и даже подумала, что, если надо, Батюшка мне уже как следует приснится и все скажет, что мне нужно услышать. Вот тут и увидела я этот сон, который помню уже много-много лет. Очень большая комната – зал для свиданий с родственниками, из зала ведут двери, их много и все без ручек, как и полагается,

потому что это сумасшедший дом. И небольшими группами стоят по залу люди, больные со своими родственниками, и я в одной из них.

Батюшка, в полном облачении, подошел ко мне, я упала на колени и, обливаясь слезами, исповедовалась, а он, уже поднимая меня, снимая с моей бедной головы епитрахиль, сказал: «Ты живешь так, как будто никогда не умрешь. Тебе нужно класть много поклонов. Ну все, некогда мне больше тут с тобой, видишь, сколько их еще!» – и показал на эти группы людей, разбросанные по залу. «Вот иди к ней, она с тобой займется». И тут возле меня оказалась маленькая незнакомая старушка с ясным и молодым круглым лицом. Она сказала мне: «Не можешь молиться по четкам – клади поклоны по камешкам, из кармана в карман перекладывай», – и насыпала мне в протянутую ладонь горсть маленьких круглых камешков.

Я проснулась. Этот сон, как бывает в таких случаях, был ярче яви.

Днем я вернулась домой и все вспоминала этот сон. На кухне стоял стакан черной смородины. Ягоды были примерно такого же размера, как камушки, которые я видела во сне. Я насыпала такую же горсть смородины и посчитала ягоды в ладонях – их было ровно двести.

На следующее утро я уже была в Лавре. У Батюшки, как всегда, сплошной стеной толпился народ во всех маленьких комнатках его старой приемной, а я все хотела рассказать ему этот сон и спросить, сколько же поклонов он благословит мне теперь класть. А он в дальней келье с кем-то тихо разговаривал, и вдруг я через головы стоящих передо мною десятков людей ясно услышала голос Батюшки. Он обращался к стоящей перед ним на коленях девушке: «Будем считать, что ты теперь нареченная монахиня. Поклонов клади от тридцати до трехсот, больше трехсот не нужно, а меньше тридцати – и спать не ложись». И больше ничего уже не было слышно. Как-то стало понятно тогда, что старец таким образом ответил мне на мой вопрос. В тот день я так и не попала к Батюшке, но ведь на самом деле очень даже попала – ответ на свой вопрос получила.

Вернулась я домой, и вечером пришел помысел: «А почему это я решила, что Батюшка мне ответил, мало ли что услышала, он ведь не со мной разговаривал», – и на следующее утро опять поехала в Лавру.

На этот раз Батюшка подозвал меня к себе, и я с внутренним трепетом спросила его только о поклонах, не рассказав почему-то свой сон.

А он ответил: «Я же тебе уже сказал – от тридцати до трехсот».

В тот же день я поехала в Москву к моей самой близкой подруге Светлане. Очень хотелось поделиться с ней тем, что произошло, но не успела я еще начать свой рассказ, как она вдруг сама опередила меня: «Ты представляешь, какую удивительную вещь я сегодня прочитала! Оказывается, существует древний иноческий способ молитвы по камушкам».

Так вот когда Батюшка познакомил меня с блаженной Любушкой! Это была именно она.

Юродивая, нищая Христа ради, блаженная врачевательница больных и скорбящих душ, безумно забывающих о том, что каждый день может стать для них последним. Она плакала, пока мы смеялись, замерзала, пока мы грелись на солнышке, постилась и молилась, пока мы ели и спали. Слепшая от слез, вымаливала у Матери Божией нам время на покаяние, зрячая среди слепых.

По имени твоему и житие твое.

«Ой, Раечка, если бы ты могла видеть, что делается!»

Мы и теперь часто бываем в огромном Казанском монастыре у блаженной Любушки. В часовне, которая построена над Любушкиной могилой, вскоре появилась вторая мраморная гробница. Это блаженная Мария, которая отправилась из Оптиной умирать в Вышний Волочек со словами: «Поедем к Любушке».

Приезжаем, поем панихиду и приникаем к холодному мрамору со своими бесконечными просьбами, а то и положим на белую гробницу помянники с именами «больных, слепых, сухих, чающих движения воды» и свято верим, что все наши просьбы и слезы она так же слышит и теперь, как и раньше, когда еще жила на земле рядом с нами.

Святая блаженная мати Любовь, моли Бога о нас!

Крым наш

Шестнадцатого марта 2015 года. Вечером, около пяти часов, мы случайно встретились на Никольской с моей подругой Светланой, буквально столкнулись нос к носу, и зашли к нашему хорошему знакомому, работа которого тогда была совсем рядом, чайку попить. У нее оставалось еще полчаса до начала занятий в Заиконоспасском монастыре. Разговорились с Мишей, а он и рассказал нам, как вчера по благословению нашего старца архимандрита Наума они с другом три раза объехали ночью по МКАДу вокруг Москвы с Владимирской иконой Пресвятой Богородицы. Миша был за рулем, икона рядом, а его друг на заднем сиденье непрестанно все это время читал акафист Матери Божией. «Батюшка, – говорит, – благословил непременно три раза с этой иконой облететь столицу хоть на самолете, хоть на вертолете, хоть на машине объехать».

Вышли мы со Светланой на Никольскую, и вдруг нам обоим стало тревожно, даже страшно, очень страшно; это было совершенно необъяснимо. Ну, идут обычные люди со свернутыми флагами и транспарантами к Красной площади, идут и идут, что бы с того? Люди как люди, никакого внимания на нас не обращают. А мы с ней стоим и спорим, кто кого будет провожать.

– Давай я с тобой все-таки дойду до Заиконоспасского.

– А как же ты обратно-то одна пойдешь?

– Да мне два шага до метро, добегу.

Я вернулась домой, а через неделю что-то искала в Интернете, закопалась в новостях и неожиданно наткнулась на статью, которая меня заинтересовала. Если вкратце: «...президентом США Бараком Обамой была освобождена от должности и 17 марта арестована не сумевшая (или не захотевшая) передать коды запуска ядерного оружия, разрешающие ядерный удар по России по согласованию с таким же ударом, планируемым Великобританией, капитан ВМС США Хизер Е. Коуэл, командир стратегических коммуникаций, которые отвечают за связь с подводными лодками США, находящимися на боевом дежурстве. Связь эта осуществляется с помощью самолета-ретранслятора, который единственный может передать на атомные подводные лодки такой приказ».

Шестнадцатого марта капитан Коуэл получила от Пентагона этот приказ на запуск «ограниченного» ядерного удара по России, который не удалось выполнить, – не сработала, или как раз именно сработала, не отключилась система PAL – устройство предотвращения несанкционированного запуска или детонации ядерного оружия. «Принятая мера безопасности – блокировка кодов системы – была осуществлена по приказу бывшего министра обороны США Чак Хейгла до его увольнения в прошлом месяце за отказ принимать участие в этой атаке против России». А новый министр обороны Картер не был в курсе того, что поставлена блокировка.

Сообщается, что президент В. В. Путин и Министерство обороны РФ поставлены в известность о планируемой атаке против России. 15 марта Обама предупреждает, что он не может остановить войну.

Хизер Коуэл арестовали и посадили в тюрьму в Калифорнии, где, как было написано в этой статье, ее ничего не ждет, кроме самоубийства.

Пятнадцатого марта вечером выходит фильм «Крым. Путь домой», в котором наш президент недвусмысленно сообщает, что если нужно будет, мы и первые нажмем кнопку... Я еще очень удивилась, услышав тогда совершенно нехарактерную для него прямую угрозу. Это прозвучало как инородная врезка в фильме. В это время наш президент уже неделю неизвестно где – что только не пишут в Интернете! Но на следующий день, 16 марта в восемь утра, начинаются масштабные военные учения: внезапная проверка – приведение в высшую степень боевой готовности военных подразделений Западного военного округа и Северного флота.

А ведь именно 16 марта 2015 года была первая годовщина референдума в Крыму. Мы тогда со Светланой об этом совершенно забыли. И эти люди с флагами и транспарантами во множестве шли по Никольской 16 марта на стотысячный митинг-концерт на Васильевском спуске праздновать воссоединение с Крымом. Но президента там не было – конечно, таким образом он тоже пытался отвести от столицы удар, которым нас хотели «поздравить» с этой датой.

Я распечатала обе статьи и поехала к Батюшке. Он внимательно выслушал мой краткий рассказ, переспросил, о каких именно днях идет речь, и произнес:

– Да, нам передали накануне от блаженной Матроны, что нужно обнести Москву Владимирской иконой Божией Матери.

Я спросила, оставить ли ему или прочитать вслух эти статьи.

– Да не надо, и так все понятно.

Тогда Батюшкина келейница мне и рассказала, что нашему старцу явилась блаженная Матрона с повелением срочно обнести Владимирской иконой Божией Матери Москву. Отец Наум двух или трех людей просил это сделать – безрезультатно: или поленились, или не поторопились. Тогда он строго приказал исполнить это послушание нашему другу, а мы чудесно об этом узнали, несомненно, по Батюшкиным молитвам оказавшись именно в тот день, и в то время, и на том месте, где эта катастрофа должна была произойти.

С тех прошло три года.

А недавно приехала Ниночка Моисеева, привезла девочку из Адыгеи, пятую Елизавету за три дня, бывает же такое. Уже пора было садиться в машину, мы совсем опаздывали на обязательную встречу, сестры всё торопили нас, но я внимательно слушала ее неожиданный рассказ, который оказался продолжением этой истории, а Ниночка заодно узнала, что же на самом деле тогда произошло.

«16 марта 2015 года, – рассказывает Ниночка, – я вернулась из Грузии и рано утром приехала к Батюшке, привезла ему в подарок грузинскую икону Матери Божией, она называется “Адвокато”. Батюшка уже совсем слабенький сидел. Он взял икону и говорит: “Что-то нос длинноват”, – и показывает на большую Иерусалимскую – там у него висит на стенке (Батюшка не раз нам говорил, что на этой иконе Матерь Божия больше всего на Себя похожа). А потом как возвысил голос и возгласил: “А ты бери Владимирскую и иди крестным ходом вокруг Москвы! Тут, говорят, Матрона явилась и дала всего три дня, а то будет беда!”

А я больная – перенесла в Грузии воспаление легких, что-то меня подкосило сильно:

– Батюшка, а можно на машине, пешком-то не пройду по МКАДу.

Он говорит громко:

– Можно на самолете! Но только сегодня последний день. И проси Матерь Божию – отведи беду! Так прямо кричит: “Матерь Божия, отведи беду!” Иди.

Пошла в лавку, купила икону большую Владимирскую. Катерина Ивановна с Верой машину организовали, и мы поехали. Ездили с 11 утра до 11 вечера. К вечеру стали уже омоновцы появляться. Уже стемнело. Мы останавливались на МКАДе через каждые несколько километров и крестили Москву этой иконой – в Севастополе по пятницам из Херсонеса выходит автомобильный крестный ход, я на это все насмотрелась, уже было ясно, что делать. Потом еще одна машина присоединилась, водители клаксоны включали и нас приветствовали. Собрались домой, а Катерина Ивановна с упреком: “Куда?”

Надо отчитаться”.

Приехали мы вечером в Лавру и на следующий день с этой иконой – к Батюшке: “Вот, сделали дело”.

– А теперь идите к Владыке и скажите ему все!

Вернулись мы к Батюшке от Владыки, и я ему докладываю:
– Батюшка, Владыка-то спросил, что конкретно случилось?
А Батюшка стоит и так весело говорит:
– А вот что конкретно-то, и не сказали».

Так вот какая Владимирская икона большая, совсем простая торжественно лежит на аналое под Успенским собором в храме Всех Святых среди древних икон и святынь Троице-Сергиевой Лавры...

Послесловие

Б. Н. Пастернак

* * *

Быть знаменитым некрасиво.
Не это поднимает ввысь.
Не надо заводить архива,
Над рукописями трястись.

Цель творчества – самоотдача,
А не шумиха, не успех.
Позорно, ничего не знача,
Быть притчей на устах у всех.

Но надо жить без самозванства,
Так жить, чтобы в конце концов
Привлечь к себе любовь пространства,
Услышать будущего зов.

И надо оставлять пробелы
В судьбе, а не среди бумаг,
Места и главы жизни целой
Отчеркивая на полях.

И окунаться в неизвестность,
И прятать в ней свои шаги,
Как прячется в тумане местность,
Когда в ней не видать ни зги.

Другие по живому следу
Пройдут твой путь за пядью пядь,
Но поражение от победы
Ты сам не должен отличать.

И должен ни единой долькой
Не отступаться от лица,
Но быть живым, живым и только,
Живым и только до конца.